

Нестор Махно Воспоминания

Книга II Под ударами контрреволюции (апрель-июнь 1918 г.)

Предисловие

Я очень сожалею о том, что личный конфликт с Нестором Махно помешал мне проредактировать первый том его воспоминаний, вышедший еще при жизни автора. Отсутствие опытной редакторской руки отразилось неблагоприятно на этой первой книжке. А так как и самое содержание ее не представляет еще исключительного интереса, то неудивительно, что появление этой первой части записок Махно вызвало некоторое разочарование.

Незадолго до смерти Н. Махно мои личные отношения с ним несколько наладились. Я подумывал предложить ему проредактировать, при его участии, дальнейшие воспоминания. Его смерть помешала осуществлению этого замысла.

После смерти Махно товарищи, заинтересованные в опубликовании продолжения записок, поручили мне проредактировать их, а также снабдить пояснительным предисловием и некоторыми необходимыми примечаниями к тексту. (Примечания эти читатель найдет в конце книги.)

* * *

Считаю необходимым прежде всего отметить, что моя редакторская задача сводилась исключительно к приданию запискам Махно минимально литературной формы. Я не только не делал в тексте никаких изменений, которые могли бы хоть отдаленно повлиять на смысл, но больше того: насколько это было возможно, я сохранял нетронутым и самый стиль подлинника, своеобразный и местами очень красочный. Внесенные в текст исправления имели в виду исключительно удобочитаемость книги. Для непосвященного читателя добавлю, что Н. Махно обладал лишь элементарным образованием, а литературным языком не владел и в малой степени (что, впрочем, как уже сказано, не мешало ему иметь собственный характерный «стиль»). Местами, в особенности там, где он увлекается пространными теоретическими рассуждениями, его рукопись становится синтаксически безграмотной. Гораздо лучше удаются ему описания живых событий. Страницы, посвященные живому рассказу о таких событиях, могут оставаться почти нетронутыми.

* * *

По своему содержанию настоящая, II книга воспоминаний интереснее первой. Наблюдения Махно во время его поездки через всю Россию летом 1918 года, его встречи и разговоры, его размышления, огорчения, разочарования и, наконец, его окончательное решение посвятить себя целиком организации крестьянского восстания на Украине для борьбы за новый, безвластный общественный строй – все это чрезвычайно характерно и ярко. Пребывание Махно в Москве, его беседы с Лениным и Кропоткиным описаны очень живо. Читатель отчетливо видит постепенное нарастание основной идеи Махно. Приближаясь к концу книги, мы превосходно понимаем психологию автора. Перед нами встает яркий образ человека, целиком и бесповоротно преданного своей идее. Конец книги

исполнен большой душевной напряженности.

Настоящий, II том воспоминаний Махно доведен до конца июля 1918 года. Автор останавливается как раз в преддверии того огромного крестьянского восстания, главным вдохновителем и организатором которого он делается после июля. Следующий, III том («Украинская революция»), доведенный до конца 1918 года, еще более интересен и значителен. Он дает полное представление о первой, подготовительной стадии движения махновщины. Он выйдет в свет непосредственно за II томом.

К сожалению, на III томе записки Махно обрываются. Болезнь и смерть помешали ему довести работу до конца. Потеря невознаграждаемая, так как никто лучше его самого не мог бы рассказать о движении.

Написанные им три книги дают, однако, достаточное понятие, во-первых, о личной роли и о психологии Махно и, во-вторых, о как раз наименее известном периоде махновщины: о ее первых шагах и первых успехах. Начиная с 1919 года движение лучше известно. Прежде всего, имеется книга П. Аршинова «История махновского движения», вышедшая в 1923 году и ведущая последовательный рассказ, начиная именно с 1919 года. Затем живы некоторые участники событий 1919–1921 годов, способные подробно о них рассказать. Наконец, существуют, несомненно, и многочисленные документы, хотя они в данное время и рассеяны по частным рукам.

Я не нахожу ни нужным, ни возможным давать в небольшом предисловии критическую оценку махновщины или же взглядов Н. Махно. Кое-какие замечания, касающиеся некоторых его суждений в настоящей работе, читатель найдет в примечаниях к соответственным главам в конце книги. Что же касается критического очерка движения, то я предполагаю в ближайшем будущем выпустить небольшую работу, посвященную оценке движения и вытекающих из него – для анархистов и для интересующихся народными движениями – уроков.

*В. М. Волин
Июль 1936 года
Париж*

Глава I На пути отступления

В апреле 1918 года я вызван был в штаб Егорова – штаб красногвардейских войск. В указанном мне месте штаба, однако, уже не оказалось: он отступил под натиском немецко-австрийских войск, и, где остановился, пока не было известно. За время, что я ездил по линиям железных дорог, в Гуляйполе произошли крупные перемены. Оно было занято врагами революции – германо-австро-венгерскими экспедиционными частями и их проводниками, отрядами Украинской Центральной рады.

Красноармейские и красногвардейские отряды бегут. За ними бегут и другой формации революционные отряды. Бежит местами и население к злорадному удовольствию врагов.

Весть о занятии Гуляйполя застала меня на станции Царевоконстантиновка и потрясла. А бегство революционных сил я видел сам. Тяжело было смотреть на это бегство. Что-то непонятное, тяжелое сдавило мне сердце и лишало меня возможности яснее представить все то, что произошло там, в Гуляйполе, за мою двухдневную отлучку из него. Все совершившееся настолько потрясло и сковало меня, что я оказался совершенно не в состоянии противопоставить свои физические силы этой тяжести. Тут же, на станции, я прилег, положив голову на колени одного из красногвардейцев, и бессознательно выкрикивал:

– Нет, нет, я этой изменнической роли шовинистов не забуду! Может быть, и стыдно революционеру-анархисту питать в себе мысли о мести, но они поселились во мне, и я

сделаю из них для дальнейшей своей революционной деятельности необходимые выводы...

Об этом мне красноармейцы рассказали впоследствии. Говорили они еще, что я заплакал и уснул в вагоне на коленях все того же красногвардейца. Однако я этого не помню.

Мне казалось, что я не спал и лишь чувствовал себя в какой-то тревоге. Это чувство было тяжело, но я мог ходить, говорить. Помню, что я никак не мог сообразить, где я... Лишь когда я вылез из вагона и увидел, что все еще нахожусь на станции Царевоконстантиновка, я извинился перед окружавшими меня красногвардейцами и направился к вокзалу.

По дороге я встретился с несколькими товарищами и своим братом Саввой Махно, бежавшим из Гуляйполя. Это свидание меня обрадовало. Я набросился на них с расспросами о том, при каких обстоятельствах было сдано Гуляйполе, какие жертвы понесли отряд анархистов и другие революционные организации.

Но товарищи, увидев меня полубольным, нервным, уклонились отвечать подробно, ограничиваясь самыми краткими фразами вроде:

«Гуляйполе сдано, но не все в нем погибли» и т. п.

Это меня очень бесило, но делать было нечего. Я не мог принудить их рассказывать мне подробности, так как знал, что все воинские поезда были на отходе и нам нужно было успеть найти в одном из них себе место. Я сказал об этом брату, и он нашел нам места.

Через 5-10 минут мы сидели уже в одном из красногвардейских вагонов и обсуждали, во всей широте и со всей ясностью, создавшееся положение на Украине. Это обсуждение не могло бы быть для нас полным, если бы оно велось вне связи с Гуляйполем, с его широким и просторным районом, с той колоссальной работой, какую нам, живя и развивая в нем свои идеи, уже пришлось проделать на пути революционного действия.

Да и сама тема связывала нас с Гуляйполем. Занятие врагами этого пункта мысленно уносило нас туда, к нашим упущениям в деле организации вольных батальонов революции против контрреволюции, несшейся на штыках грозных экспедиционных немецко-австро-венгерских армий и жалких по своей боеспособности, но подлых по своим делам отрядов их прислужницы – Украинской Центральной рады.

Упущения эти заключались в том, что при формировании вольных батальонов нами было допущено свободное вступление в них всякого желавшего без какой бы то ни было проверки. Это привело в ряды вольных батальонов сторонников Украинской Центральной рады и ее преступного против революции союза с немецким и австро-венгерским правительствами. Правда, лично я в этом упущении не находил большого зла. Большое зло видел я в совершенно другом упущении, как со стороны революционного комитета, так и с нашей стороны: упущении, которое помогло пяти-шести сознательным подлецам сыграть на руку немецко-австро-венгерскому командованию и Украинской Центральной раде в деле занятия Гуляйполя без боя и затем в осуществлении расправы над многими тружениками. Упущение это заключалось, *по-моему*, в слишком поспешной и стратегически неразумной (хотя морально и тактически по отношению к остальным отрядам оправдываемой) высылке из Гуляйполя на фронт отряда анархистов-коммунистов. Отряд этот нужно было держать в Гуляйполе в непосредственном ведении революционного комитета и секретариата группы анархо-коммунистов до тех пор, пока другие вооруженные революционные части находились здесь же. Лишь в момент общего выступления вооруженных сил на революционный фронт надо было вывести и отряд анархистов, выдвинув его в авангард. В самом деле, очевидцы происшедших в мое отсутствие гуляйпольских событий мне рассказали, что арестом революционного комитета, членов Совета рабочих и крестьянских депутатов и секретаря группы руководили пять человек, пользуясь в кое-каких случаях поддельными документами, а также вооруженной силой еврейской роты, неустойчивой, в массе своей склонной приспособляться. Находился отряд анархистов в то время в Гуляй-поле (пусть даже в мое отсутствие), заговорщики ни за что не решились бы заменить вне очереди одну дежурную по гарнизону роту на другую, именно еврейскую. Командир этой роты, не еврей, склонен был, особенно в тревожное время, ориентироваться в сторону сильных. Он с

помощью самих заговорщиков и при молчаливом подчинении роты произвел нападение на революционный комитет и арестовал его, а затем пустил роту на поимку отдельных членов Совета, стариков крестьян и рабочих анархо-коммунистов...

Будь отряд анархо-коммунистов в это время не на фронте против экспедиционных армий и отрядов Украинской Центральной рады, а в Гуляйполе, он не допустил бы агентов командования этих армий и отрядов организовать вооруженное нападение на революционный комитет и сорвать его работу в деле организации фронта против контрреволюции. К сожалению, все то, о чем мы говорили, свершилось. Помню, я говорил тогда своим товарищам:

– Теперь в Гуляйполе, да и во всем его районе можно ожидать со стороны крестьян и рабочих крайне нежелательной для дела революции, недостойной ненависти к евреям вообще. Сознательные и бессознательные враги революции могут эту ненависть использовать как они захотят. И мы, так много потрудившиеся над тем, чтобы убедить тружеников-неевреев, что еврейские рабочие им братья, что их необходимо втянуть в дело общего социально-общественного строительства на равных и свободных началах, мы можем очутиться перед фактом еврейских погромов. Об этом мы должны тоже подумать, и подумать серьезно...

– Совершенно верно, ненависть крестьян и рабочих к евреям сейчас сильная, – отвечали мне друзья, – но не мы виноваты в этом... Евреи никогда в Гуляйполе не были изолированы от общественной жизни нееврейского населения. И лишь акты еврейской роты 15–16 апреля поставили нееврейское население на путь ненависти к евреям. Покидая Гуляйполе, мы не можем не видеть, что в нем появился дух антисемитизма... Но что сделаешь, мы бессильны теперь бороться с ним. Наши силы все в подполье, и в значительной степени из-за действий еврейской роты...

– Вот в том-то и дело, – настаивал я, – что с торжеством контрреволюции и благодаря глупой выходке еврейской молодежи над Гуляйполем веет дух антисемитизма. И наша прямая обязанность не дать ему осесть, укрепиться в Гуляйполе. Гуляйполе – сердце нашей новой борьбы против контрреволюции. Мы должны возвратиться в него, чего бы это нам как группе революционеров-анархистов ни стоило. Находясь в Гуляйполе, мы сможем, и это прямая наша обязанность, предупредить зло, нашедшее себе место в гуще крестьян и рабочих после действий еврейской роты... А предупредить его мы сможем тем, что своевременно разъясним революционным труженикам, кто виноват в произведенных арестах... Если мы не проявим надлежащего действия в этой области нашей борьбы, то, помните мое слово, друзья, трудовое еврейское население будет избиваться...

– Ты совершенно прав, – отвечали мне друзья, – но мы здесь ни при чем. Не из-за нас же все это совершится... Мы не оспариваем того, что нам об этом нужно подумать серьезнейшим образом, что нам придется против всего этого бороться... Но все это будет тогда, когда мы будем в Гуляйполе. Сейчас же мы должны подумать о том, где мы задержимся на временное жительство, чтобы собрать всех своих товарищей, которые будут пробираться к красному фронту и искать тебя...

Мы решили задержаться на некоторое время в Таганроге. Последний в это время являлся центром украинского большевистско-левоэсеровского правительства. Сюда сбегались со всех мест южной Украины агенты этого правительства. Сюда же отступали в большинстве своем красногвардейские отряды. Здесь, в Таганроге, одним из бегущих указывались маршруты дальнейшего перекочевывания, над другими производились аресты, насильственные разоружения и суды.

Итак, в Таганроге мы задержимся недельку-две. За это время съедутся остальные наши товарищи. Здесь мы устроим конференцию, на которой и решим окончательно: какими путями и в каком порядке мы начнем возвращаться обратно в свои районы для подпольной работы против восторжествовавшей контрреволюции.

Тем временем, что мы обсуждали этот вопрос, эшелоны отряда Петренко получили распоряжение в спешном порядке покинуть железнодорожный Царевоконстантиновский

узел и двигаться по направлению к Таганрогу, под которым красногвардейское командование группировало свои силы с целью дать повторное генеральное сопротивление немцам и Центральной раде.

Эшелоны тронулись... Тяжело и больно было расставаться с районом, среди населения которого мы так много работали. Однако другого исхода не было. Расстаться с ним на время было необходимо не только физически, но и нравственно. Ведь только со стороны можно было теперь проверить все то, во что мы верим, с чем переплеталась великая надежда, – что торжество контрреволюции непрочное, что пройдут месяцы, и украинское революционное трудовое население, дезорганизованное сейчас, с одной стороны, большевистским Брестским договором, а с другой – гнусной, провокационной политикой немецко-мадяро-австрийского вассала – Украинской Центральной рады, опомнится и поймет гнусную роль этих вершителей судеб его и революции. Трудовое население организуется на сей раз самостоятельно у себя на местах и низвергает своих палачей без опеки провокаторов из лагеря социалистов-шовинистов...

Зная настроение тружеников деревни, с каким они готовились к неудавшейся своей борьбе против нашествия немецко-австро-венгерского юнкерства и банд Украинской Центральной рады, зная и веря, что это настроение в них было естественным настроением, которое не может измениться только потому, что основанная на нем организация тружеников на первых порах потерпела тяжелые неудачи, я глубоко в себе питал надежду на возрождение этой организации и на новое воспитание, на сей раз более выдержанное в своей тактике и более сильное духом. И я, и мои друзья – Савва Махно, Степан Шепель, Ваня Х., которые были присланы ко мне навстречу из Гуляйполя, чтобы предупредить меня ни в коем случае не предпринимать попыток возвратиться нелегально в Гуляйполе, все мы приняли живое участие в переоценке вчерашнего. Мы пришли к тому, чтобы поспешить как можно скорее собрать наших товарищей по группе в Таганроге и сообща наметить план организованного возвращения в Гуляйполе и его район с целью продолжать в нем подпольную работу. Правда, мы сознавали всю опасность, которая грозила жизни каждого из нас как в пути, так и на месте нашего возвращения. Но мы сознавали и то, что разгром немецко-украинской контрреволюции при лояльности к ней в силу Брестского договора со стороны русских большевиков, их «пролетарской революционной власти» и организованной этой властью военной силы может осуществиться лишь в том случае, если планы его будут построены на внутренне содержательном революционном настроении трудовых масс, и притом построены самими тружениками. И мы не останавливались ни перед чем в своем стремлении снова очутиться в своих местностях, в рядах этих тружеников.

Но, повторяю, перед нами было задание предварительно собрать всех отступавших разными путями от контрреволюции товарищей и сообща разработать и утвердить планы как нашего возвращения в свои местности, так и нашей подпольной работы в них.

С этой целью мой брат Савва Махно выехал из Таганрога в зону военно-революционного фронта, верстах в семидесяти от города, разыскивать товарищей и направлять их в Таганрог.

Я же пока связался с некоторыми членами Федерации таганрогских анархистов, а также с другими друзьями и занялся нашумевшим в те дни в Таганроге делом командира одного из анархистских отрядов Марии Никифоровой.

Глава II

Разоружение отряда Марии Никифоровой

Как делали все большевистские красногвардейские отряды, которые, спасаясь от ударов организованной силы немецко-австро-венгерских экспедиционных армий, находили возможным искать более или менее продолжительных передышек в глубоком тылу, на приличном расстоянии от линии боевого фронта, так поступали и многие анархистские отряды. В этом проявлялся тот дух разгильдяйства и безответственности, который

многими, — о, как многими! — из революционеров молча читлся, в результате ли предательства революции в Бресте, предательства, в котором виноваты и русские большевики, и украинские социалисты, или в силу других причин, о которых говорить в данной главе я не считаю нужным. Но такое разгильдяйство и безответственность в рядах революционеров, борющихся против контрреволюции за революцию, были. Думаю и даже убежден, что по причине этого отвратительного «духа» я очутился в далеком от линии боевого фронта тылу наряду со многими отрядами и анархистским или, вернее, анархистствующим отрядом Марии Никифоровой. Большевистско-левоэсеровская власть, как и всякая власть, не могла простить отряду его окраску и в связи с этим придралась к его отступлению в тыл. Власть ведь ставила своей задачей использовать анархистов-революционеров в борьбе против контрреволюции так, чтобы эти носители непримиримости духа революции оставались на боевых фронтах до издыхания; а тут вдруг перед нею отряд под командой анархистки вместе с ее большевистскими отрядами в тылу. Задачи власти дерзко нарушены, и она взялась за дело восстановления нарушенного. Время для этого черного ее дела было благоприятное: это ведь было время, когда Ленин и Троцкий разнуждались совершенно, разгромили анархистские организации в Москве, объявили поход против анархистов в других городах и селах. Левые социалисты-революционеры в центре этому не противились. Вот почему и украинская большевистско-левоэсеровская власть поспешила действовать против отряда анархистки Никифоровой, очутившегося вместе с их красногвардейскими отрядами в Таганроге.

Украинское правительство приказало своему бежавшему с фронта красногвардейскому отряду под командой большевика Каскина арестовать анархистку Марию Никифорову, а ее отряд разоружить. Солдаты Каскина арестовали Марию Никифорову на моих глазах в здании УЦИК Советов. Когда ее выводили из этого здания в присутствии небезызвестного большевика Затонского, Мария Никифорова обратилась к нему за разъяснением: за что ее арестовывают? Затонский лицемерно отнекивался: «Не знаю за что». Никифорова назвала его подлым лицемером. Итак, Никифорову арестовали, а ее отряд разоружили.

Однако отряд Никифоровой не разбрелся и не пошел на служение в отряд большевика Каскина. Он настойчиво требовал от власти имущих ответа, где они запрятали Марию Никифорову и за что его разоружили.

К этому его требованию присоединились все отступившие из Украины в Таганрог и таганрогские анархисты. Таганрогский комитет партии левых социалистов-революционеров поддержал анархистов и бойцов отряда Никифоровой.

Я в спешном порядке дал за своей и Марии Никифоровой подписью телеграмму главнокомандующему Украинским красным фронтом Антонову-Овсеенко с запросом его мнения об отряде анархистки Марии Никифоровой и просьбой сделать распоряжение куда следует, чтобы освободить Никифорову, вернуть ее отряду оружие и указать участок боевого фронта, куда отряд должен отправиться по получении своего вооружения и снаряжения.

Главномандующий Антонов-Овсеенко на нашу телеграмму дал ответ властям, осевшим в Таганроге, с копией нам по адресу Федерации анархистов. Телеграмма носила чисто деловой характер опытного командира:

«Отряд анархистки Марии Никифоровой, как и товарищ Никифорова, мне хорошо известны. Вместо того чтоб заниматься разоружением таких революционных боевых единиц, я советовал бы заняться созданием их».
(Подпись.)

В то же время много телеграмм, протестующих против поступка властей или просто сочувствующих Никифоровой и ее отряду, поступило в Таганрог с фронта от зарекомендовавших себя в боях большевистских, левоэсеровских и анархистских отрядов и их командиров.

Екатеринославский (Брянский) анархистский бронепоезд под командой анархиста

Гарина прибыл в Таганрог, чтобы выразить свой революционный протест зарвавшимся, за спиной революционного фронта, властям.

Все это было не на руку как тем, кто распорядился арестовать Марию Никифорову и обезоружить ее отряд, так и тем, кто выполнял это распоряжение. Такое положение дела побудило центральную власть – власть, кочующую по тылам, – собрать ложные данные против Марии Никифоровой и ее отряда, данные, уличавшие ее якобы в разграблении Елисаветграда, когда она заняла его в марте 1918 года, выгнав из него украинских шовинистов. Таким образом ей создали уголовное дело.

Нужно сказать правду: большевики – хорошие мастера на измышление лжи и на всякие подлости против других. Они насобирали больше, чем нужно было, данных против Марии Никифоровой и ее отряда, и дело было создано.

В двадцатых числах апреля состоялся революционный суд над Марией Никифоровой. По партийности суд представлялся двумя левыми социалистами-революционерами таганрогской федерации, двумя большевиками-коммунистами таганрогской организации и одним большевиком-коммунистом от центральной большевистско-левоэсеровской власти на Украине.

Суд происходил при открытых дверях и носил характер суда революционной чести. Здесь следует отметить, что левые социалисты-революционеры выявили себя настолько же беспристрастными по отношению к обвиняемой Никифоровой, насколько беспощадными в отношении обвинителей-агентов со стороны власти.

Центральная власть навербовала из беглецов массу свидетелей против Никифоровой, стараясь всеми правдами и неправдами нацепить ей уголовное преступление и казнить. Но суд был поистине революционный, беспристрастный и, главное, политически и юридически в большинстве своем совершенно независимый от провокации правительственных наемных агентов.

Суд использовал в качестве свидетелей многих из свободных посетителей зала заседаний, придав разбирательству этого дела чуть не характер трибуны, с которой можно было все говорить свободно.

Помню, как сегодня: одним из знавших Никифорову и ее отряд по фронту выступил перед судом товарищ Гарин. Он в горячей речи сказал судьям и всем присутствовавшим на суде гражданам, что он убежден в том, что «если товарищ Никифорова и сидит на скамье подсудимых сейчас, то только потому, что она видит в большинстве судей прямых революционеров и верит, что, выйдя из суда, она получит обратно свое и своего отряда оружие и пойдет сражаться против контрреволюции. Если бы она в это не верила и предвидела бы, что революционный суд пойдет по стопам правительства и его провокаторов, то я об этом бы знал и заявляю от имени всей команды бронепоезда, что мы освободили бы ее силою...».

Это заявление Гарина возмутило революционных судей. Тем не менее они ответили ему, что суд сформировался на началах полной независимости от власти и доведет дело до логического конца. Если Мария Никифорова окажется виновной, она свое получит от тех, кто ее арестовал. Если данные против нее окажутся неверными, суд предпримет все меры к тому, чтобы Никифорова получила свое вооружение и снаряжение и выехала из Таганрога на фронт или куда она захочет...

В результате разбирательства суд постановил, что осудить Никифорову за ограбление Елисаветграда нет никаких оснований. Суд постановил немедленно освободить ее из-под стражи и, возвратив ей и ее отряду отобранное отрядом Каскина вооружение и снаряжение, предоставить ей возможность составить себе эшелон и выехать на фронт, тем более что она и отряд ее к этому стремятся.

На следующий день Никифорова была уже в Федерации таганрогских анархистов. Мы выпустили листовку за подписью совета анархистов, которая изобличала центральную украинскую большевистскую власть и командира Каскина в фальсификации дела против Никифоровой и лицемерно подлом отношении к самой революции. Листовка эта была

написана лично мною и не одобрялась некоторыми из товарищей за ее резкость против Каскина.

Затем, пока отряд Никифоровой формировался, я, Никифорова и один товарищ из таганрогской федерации устроили от имени федерации ряд больших митингов: на таганрогских кожевенном и металлургическом заводах, в центре города, в театре «Аполло» и в других районах города. Тема митингов была: «Защита революции на фронте против экспедиционных контрреволюционных, немецко-австро-венгерских армий и Украинской Центральной рады и в тылу – против реакции власти, которая сильна в тылу и беспомощна на фронте». Всюду, на афишах и на митингах, я выступал под псевдонимом «Скромный» (мой псевдоним на каторге). В этом вопросе на многих митингах нас поддерживали таганрогские левые эсеры. Мы имели колоссальный успех.

Помню, на один из митингов (на кожевенном заводе) приехали большевистские «знаменитости» Бубнов и Каскин от эсеров «центра». С каким разочарованием большевики принуждены были прекратить свои речи и кричать, топая ногами, на тысячные массы рабочих, когда массы кричали: «Довольно засыпать нас вопросами! Мы просим товарища Скромного на трибуну, он вам ответит!..» Когда я ответил главным образом Бубнову (Каскину отвечала Никифорова), массы рабочих освистали Бубнова и Каскина, крича:

«Товарищ Скромный, гоните их с трибуны».

После таганрогских митинговых выступлений Никифорова занялась подготовлением своего отряда к выступлению на фронт.

Я же занялся приготовлениями к конференции гуляйпольцев, которые поодиночке начали уже прибывать в Таганрог.

Глава III

Наша конференция

Как только мой брат Савва Махно добрался в условленные участки красного фронта, он встретил там товарищей Алексея Марченко, Исидора (он же Петя) Лютого, Бориса Веретельника, С. Каретника и многих других. Всех их он направил по указанному адресу в Таганрог, а сам оставался некоторое время на фронте. Когда все разысканные нами товарищи съехались в Таганрог, мы назначили день нашей конференции в Доме федерации таганрогских анархистов. Она состоялась в конце апреля 1918 года. Я открыл ее предложением всем присутствующим товарищам высказаться, какие мы сделали промахи в организации вольных батальонов и еще о том, замечал ли кто-нибудь заранее признаки того, что агенты Украинской Центральной рады и немецкого командования решатся на арест революционного комитета, членов Совета рабочих и крестьянских депутатов и членов нашей группы вообще?

Общий обмен мнениями привел нас к тем же выводам, какие я делал в разговорах с некоторыми товарищами еще в Царевоконстантиновке, а именно: не вышли революционный комитет отряда группы анархистов-коммунистов на фронт, а держи его при себе до дня выступления всех боевых частей, заговор провокатора не имел бы никакого успеха, даже если бы я отсутствовал в Гуляйполе. Еврейская рота не была бы вызвана вне очереди сменить преждевременно не окончившую своего дежурства другую роту. Да и вообще, еврейская рота, при всей ее обывательской склонности приспособляться к чему бы то ни было, никогда не решилась бы выступить против революционного комитета в пользу немцев и Украинской Центральной рады, если бы она знала, что в центре Гуляйполя расположены еще кроме нее другие вооруженные части. Но заговорщики убедили ее, что других частей в центре Гуляйполя нет, что она должна только начать дело, а завершать его будут немецкие полки и отряды Центральной рады, которые, дескать, кругом одержали победу и находятся уже недалеко от Гуляйполя.

«Еврейям-обывателям это было на руку, – говорили некоторые из моих друзей, – они ведь так падки на прославление их, да еще кем! – высшим начальством завоевателей...»

Немецко-австро-венгерское командование их действительно поблагодарило, равно как и главарей этого гнусного контрреволюционного заговора.

Конечно, это правдивое освещение роли еврейской роты в заговоре было криком душевной боли тех, кто так много потрудился в борьбе против антисемитизма и кого евреи не только арестовывали, идя рука об руку с антисемитами на это гнусное дело, но готовы были «охранять» до вступления в Гуляйполе немцев, австро-венгерцев и шовинистов – прямых погромщиков украинцев, чтобы затем выдать их на казнь палачам. Заглушить эту душевную боль товарищей было невозможно, находясь в бездействии. У многих на конференции эта боль была так сильна, что они плакали. Но никто, конечно, не помышлял о погромах, о мести евреям за это гнусное дело некоторых из них. Вообще, все те, кто называют махновцев погромщиками, лгут на них. Ибо никто, даже из самих евреев, никогда так жестоко и честно не боролся с антисемитизмом и погромщиками на Украине, как анархо-махновцы. Мои записки докажут это неопровержимыми фактами.

Видя, что душевная боль и настроение отчаяния, охватившие почти всех моих друзей, начинают все больше отодвигать на второй план дело обсуждения задач, в которых конференция наша должна была разобраться, сам начиная болеть той же болью, я употребил все свои усилия на то, чтобы преодолеть этот наплыв чувств, и снова поставил перед конференцией один, основной вопрос: возвращаемся ли мы на Украину, в свои районы, или же мы остановимся в каком-либо из городов России и вот так, как сейчас, будем собираться и хныкать о том, что было, чего уже не вернуть и не исправить?

– Возвращаемся! Возвращаемся! Все возвращаемся!.. – посыпались один за другим совершенно бодрые голоса всех тех, кто всего минуту назад сидел на стуле притаившись, как будто его нет в зале.

Затем мы поставили перед собой еще три вопроса, которые и были разрешены нами в положительном смысле. Вот эти решения.

1. Мы возвращаемся в свой район нелегально и организуем среди крестьян и рабочих инициативные группы по 5-10 человек чисто боевого характера, чтобы через них втянуть широкое трудовое крестьянство в борьбу против немецко-австро-венгерских экспедиционных армий и Украинской Центральной рады, стараясь, в каждом случае общественного возмущения против этих контрреволюционных завоевателей, быть в гуще этих возмущений, придавая им более определенный и решительный характер.

2. Возвращение всех нас в свой район не может быть одновременным; однако первые же товарищи, очутившись в нем, должны ознаменовать свое благополучное возвращение организацией беспощадного индивидуального террора против командного состава немецко-австро-венгерских армий и отрядов Украинской Центральной рады, а также организацией коллективных крестьянских нападений на всех тех помещиков, которые в дни земельного передела и отображения у них излишнего живого и мертвого инвентаря бежали из своих усадеб, а с нашествием экспедиционных армий и подсобных им отрядов Центральной рады возвратились снова в «свои» усадьбы. В задачу крестьянских нападений на помещиков должно на первых порах входить уничтожение как самих помещиков, так и тех штабов помещицких карательных отрядов, которые (по заявлениям приезжающих оттуда крестьян) имеют в своем распоряжении особого рода отряды из регулярных немецко-австро-венгерских армий.

Целью этих контрреволюционных штабов является руководство отображением от крестьян земли, живого и мертвого инвентаря, шомполование, порка и расстрелы непокорных.

Целью нами намечаемых организованных крестьянских нападений на помещиков, на осевшие у них штабы и отряды должно явиться: а) обезоруживание помещиков, их штабов и отрядов, б) конфискация их денежных средств, убийство тех из них, кто так или иначе причастен к шомполованию, порке и расстрелам крестьян и рабочих. Причем установлением их виновности в этих злодеяниях должен служить опрос крестьян тех сел и деревень, где эти господа устраивают свои самосуды или содействуют немецко-австро-венгерскому

командованию устраивать таковые.

3. Защита революции требует вооружения и снаряжения. Эти средства трудящиеся должны добыть у своих врагов. Поэтому, возвращаясь в свой район с одной мыслью: умереть или разбить фронт контрреволюции и жить свободно во имя нового свободного общества, мы, все вместе, и каждый в отдельности, должны стремиться организовывать по селам, среди тружеников, вольные батальоны и подсобные им легкие боевые отряды для внезапных войск и отрядов рады с целью обезоружения их, а в минуты жестокого сопротивления – просто уничтожения.

Эти три простых пункта, выработанных нашей таганрогской конференцией для борьбы с теми, кто непрошено пришел на революционную территорию, насильственно осел на ней и казнит всех, кто только осмеливается выступать за свои права на независимую и свободную жизнь, – эти три пункта окончательно и прочно связали всех нас с мыслью о возвращении в Гуляйполе.

Разрабатывая детали осуществления этих положений, детали, которые, как это можно было предвидеть, окажутся чрезвычайно важными в неравной борьбе, я незаметно для самого себя стал суровым вдохновителем всех окружавших меня в то время товарищей на подвиг, который, как нам всем казалось, требовал от каждого из нас самопожертвования и сознания тяжелой ответственности на намеченном пути. Понимание всего этого вселяло в нас тревогу. Тем не менее мы решили во что бы то ни стало напрочь все усилия для достижения цели и испробовать на этом пути свои силы.

Итак, мы возвращаемся в Гуляйполе, в его район. Возвращаемся затем, чтобы поднять восстание крестьян и вместе с ними бороться, и, если нужно, умереть в этой борьбе за социальную революцию, за расчистку необходимого для этой последней широкого пути, за возможность творческой, созидательной деятельности коммунистического анархизма.

Но как возвращаться? Группами или же одиночками?

Разрешить этот вопрос мы предоставили каждому из нас самостоятельно. Важно лишь, чтобы к концу июня или в первых числах июля мы все встретились в Гуляйполе или возле него. Это время полевых работ. Все крестьянство в поле: косит хлеба. Мы легко сможем с крестьянами встречаться. Говорить, о чем нужно. Узнавать их мнения, истинное настроение. Выбирать из них более стойких и преданных делу освобождения, объединять их, группируя из них авангард для всего Гуляйполя и его района. Мы знали, что только Гуляйполе может стать центром революционной инициативы в деле поднятия повсеместного восстания крестьян. Мы знали, что, несмотря на провокаторский акт агентов немецкого командования и Центральной рады в апреле, население Гуляйполя и района верит в революционную инициативу гуляйпольцев. На долю гуляйпольцев ложится прямая обязанность восстать первыми и позаботиться о том, чтобы двинуть на этот путь все трудовое население других районов, ясно определив те цели, во имя которых это население должно на него вступить.

– Выработанные конференцией положения в трех пунктах, – говорил я товарищам, – до некоторой степени уже приближают нас к определению перед трудовым населением тех целей, к которым оно может прийти только через повсеместное восстание – восстание крайнего революционного напряжения, как по своей отважности, так и по своей непримиримости. Но положения эти только приближают нас к определению этих целей. Окончательно же мы определим эти цели вместе с трудящимися на местах в процессе развертывания, сообщая с ними, нашего прямого действия против контрреволюции...

Затем товарищ Веретельник поднял вопрос о члене нашей группы Льве Шнейдере и его гнусной изменнической роли в момент гуляйпольских событий 15–16 апреля.

Веретельник осветил эту роль члена группы как предательскую и по отношению к группе, и по отношению к идее анархизма.

– Лев Шнейдер, – сказал Веретельник, – растерялся ли он в эти дни, или же его революционность незаметно для него самого подменилась обывательской психологией, – так или иначе, он был на стороне тех, где сила... Но этого мало. Лев Шнейдер стал на сторону силы и внутренне: он не только был в рядах еврейской буржуазии, встречавшей немцев и

хулиганов из отрядов Украинской Центральной рады с хлебом-солью, но и первый выступил перед контрреволюционерами с речью на украинском языке – контрреволюционной речью – и первый среди гайдамашни вскочил в бюро нашей группы, первый начал рвать наши знамена, рвать и топтать портреты Бакунина, Кропоткина, Александра Семенюты, которого, по его же заявлениям, он так любил... Вместе с шовинистским хулиганьем он разгромил групповую библиотеку, и это тогда, когда даже в рядах шовинистов были люди, которые тут же подбирали нашу литературу, книги, газеты, прокламации и уносили к себе, а некоторые передавали потом нашим товарищам, что подобранная ими литература когда угодно может быть нам возвращена.

– И я, – волнуясь, заявил Веретельник, – я настаиваю на том, чтобы члены нашей группы, присутствующие на конференции, высказались определенно об изменнике Шнейдере. Роль его – провокаторская роль, и я считаю, что Лев Шнейдер должен быть убит за нее.

Глава IV

Отступление сельскохозяйственных коммун и поиски их

В то время, когда мы с Веретельником покидали Таганрог, я получил сведение, что через Таганрог проследовали эшелоны, в которых отступали члены сельскохозяйственных коммун, организованных в Гуляйпольском районе нашей группой. (В первом томе своих записок я уже писал, что был членом одной из них и выполнял в ней известные работы.) Получив эти сведения, я расстался с Веретельником и поехал вдогонку за отступавшими коммунарами. Хотелось повидаться со своей подругой, которая, как член коммуны, вместе со всеми отступала, и вообще хотелось видаться со всеми, хотелось обменяться с ними своим мнением о дальнейшем нашем общем деле. Хотелось подбодрить их и искренне, не скрывая ничего, поделиться с ними всем тем, что я мог предвидеть на пути, намеченном нашей Таганрогской конференцией. Я был одним из первых их вдохновителей в деле организации коммунальной жизни и чувствовал на себе известную ответственность за это. Теперь я направлял все свои мысли им вслед, чтобы нагнать их, обнять, расцеловать за их смелое начинание, связавшее их на деле с одной из чистейшей, прямой революционной практической задачей трудящихся.

Перед выездом из Таганрога в *Ростов-на-Дону* я встретился с матросом Полонским, командиром гуляйпольского вольного батальона, и его братом. Теперь наш Полонский заявил мне, что он не хочет ни идти снова в свою левоэсеровскую партию, ни оставаться в рядах анархистов, а попытается изучить большевизм. Если же и в нем не увидит той силы, которая могла бы свернуть голову вооруженной контрреволюции, то он становится на обывательский путь нейтральности, так как, дескать, жалеет свое здоровье, *«без которого жить нельзя в рамках существующего»*.

Я изрядно посмеялся над ним и, дав ему просимые тысячу рублей из сумм революционного комитета, уехал в Ростов-на-Дону. В Ростове-на-Дону я три дня лазил по линиям железной дороги, искал своих коммунаров, но тщетно. Здесь я встретился снова с начальником красных резервных войск Юга России Беленкевичем, который снабдил Гуляйполе вооружением (см. том I моих записок). Мы без всяких обиняков откровенно поговорили об общих причинах столь быстрого отступления красногвардейских войск и, в частности, о гуляйпольских событиях 15–16 апреля.

Беленкевич был человеком особенно прямым и откровенным, и эта черта придавала ему вид подлинного солдата революции. Однако он – большевик, который не только мыслит, но и действует по программе своего центра из трех-пяти «владык». Это обстоятельство вызывало во мне протест, так как я успел уже пережить на пути солдата революции несколько таких моментов, когда необходимо действовать не по указке из центра, а так, как того требует конкретная обстановка, лишь бы, конечно, эти действия не шли вразрез с руководящей идеей революции.

Беленкевич сообщил мне, что он лично распорядился подать отдельный эшелон нашим коммунарам, чтобы они были свободны в своем отступлении. По его словам, они проезжали здесь. «Сейчас, очевидно, направились далее, в глубь страны, но трудно определить, – сказал товарищ Беленкевич, – по Северо-Кавказской ли линии железной дороги они направились или же через Лиски и Воронеж». Пускаться вдогонку за ними в направлении на Лиски-Воронеж Беленкевич мне не советовал, так как, по его словам, на этой линии очень часто казачьи контрреволюционные отряды останавливали поезда и всех мало-мальски подозрительных из пассажиров расстреливали...

Эта предупредительная любезность Беленкевича задержала меня на несколько дней в Ростове.

Глава V

Моя встреча с ростово-нахичеванскими и приезжими в Ростов анархистами

Не знаю, чем занимались наши ростово-нахичеванские товарищи в эти тревожные для Ростова дни. До того, весь 17-й год и минувшие месяцы 18-го, эти товарищи издавали серьезную еженедельную газету «Анархист». По газете видно было, что товарищи имели идейное влияние на трудящихся города и окрестностей и вели среди них воспитательную и организационную боевую работу, пытаюсь одновременно ввести в строго организационные формы анархистское движение. Теперь же, в первые дни моего пребывания в Ростове, я не нашел этой газеты и не встретил никого из товарищей ростово-нахичеванской группы.

Зато в первый же день, как только я потерял всякую надежду разыскать членов сельскохозяйственных коммун Гуляйпольского района и остановился в Ростове с целью разыскать анархистов, я натолкнулся на вечернюю газету «Черное знамя», формата в 1/6 печатных листа, с информационными сведениями на обеих страничках исключительно о положении фронта революции против контрреволюции, с неполными, в большинстве случаев неточными и даже ложными сведениями.

Редакция этого пресловутого анархического органа перемещалась из одного отеля в другой, и это затрудняло не только меня лично, но и многих анархистов, прибывших в Ростов из Одессы и других городов Юга Украины, желавших разыскать ее, выяснить лиц, представлявших ее.

Помню, я проходил по базару-толкучке с намерением купить исподнее белье, чтобы после трех недель переодеться. Я встретил на этом базаре товарища Григория Борзенко – серьезного товарища, работавшего в свое время в Одессе и Харькове. Лично мы друг друга до этой встречи не знали. Но при первой же встрече (нас познакомила товарищ Рива, один из членов Мариупольской группы анархо-коммунистов) первым моим вопросом к нему было: «Не знаете ли вы, товарищ Борзенко, кто издает уличную вечернюю газетку „Черное знамя“?»

Ответ товарища Борзенко был курьезный: «Говорят, что эту газетку какие-то три анархиста издают. Но мне кажется, ее издают люди, желающие пристроиться возле сильных: стало быть, наши враги».

Встретиться с издателями этой спекулянтской вечерней «анархистской» газетки мне так и не удалось. Видимо, и многим другим нашим товарищам это не удалось, хотя многие между собой говорили об этой газетке и о ее издателях; говорили, что издают ее люди, которые имеют в кармане деньги и хотят иметь их еще больше. Для меня лично после прочтения двух-трех номеров этой газетки было несомненным, что она издается людьми предприимчивыми именно в области торговли и вещами, и своей совестью; людьми, которые через фронт только проехали, а крестьян и рабочих видели, вероятно, только тогда, когда, в силу революции и роли в ней трудящихся, последних никак нельзя было обойти, ибо они всюду были впереди – и в часы побед революции, и в часы смерти за нее.

Но предпринять против этих лжеанархистов сейчас ничего нельзя было. С одной

стороны, потому, что наше движение, будучи разрознено на множество групп и группок, не связанных между собой даже единством цели, не говоря уже о единстве действий в момент революции, вмещало в свои ряды всех, кто уклонялся от ответственности момента и бежал из своих лагерей, делая под прикрытием анархического принципа «Свобода и равенство мнений есть неотъемлемое право каждого человека» от имени анархизма все, вплоть до шпионства, в пользу большевистско-левоэсеровской власти за денежное вознаграждение. А с другой стороны, еще и потому, что в это время поход против анархизма Ленина и Троцкого не был еще прекращен, и наше выступление против людей, именовавших себя анархистами, могло быть ложно истолковано, могло сыграть на руку преследовавшей нас власти.

Беда была в том, что, будучи разрозненными, не имея за собой организованных широких трудовых масс, русские анархисты растерялись и в большинстве своем вступили на путь – полумолчаливый путь – симпатии по отношению к делам большевистско-левоэсеровской власти. Все это власть учла с особым удовлетворением и с намерением извлечь из такого положения известные выгоды, так как самыми опасными оппозиционерами для нее были революционные анархисты.

Власть шаг за шагом начала допускать снова выход анархистской прессы; начала разбираться, с какими анархистами следует считаться, а с какими не следует. Отсюда заметно начинает появляться в наших рядах мысль о приспособленчестве, некрасивом, иезуитском приспособленчестве. Наиболее сведущий в области торгашеского приспособленчества элемент перестает думать об организации сил своего движения; он перебегает к большевикам, оставаясь со званием анархиста. И эту свою перебежку часто смешивает с принципом «свободы мнений», с которым он, дескать, ничуть не порывает связи, а, наоборот, стремится укрепить его в анархических рядах.

В самый тяжелый и для революции, и для анархизма момент – требующий тяжелых усилий анархического коллективного ума и энергии – анархисты, получившие образование за счет трудящихся еще до их вступления в анархические ряды, научившиеся как будто кое-что понимать, научившиеся красиво говорить и писать, потянулись целыми вереницами, по-над фронтом борющихся с оружием в руках трудящихся масс, в большевистские культурно-просветительные отделы консультантами... И создавалось впечатление, что для этого рода анархистов-революционеров жизнь анархического движения чужда, ибо для движения нужно было слишком тяжело, и с большими опасностями на тяжелом пути, работать. А они призваны ведь не работать, а только советовать другим, как надо работать. Этим своим грубо неверным пониманием задач революционного анархизма в момент революции, когда, помимо фронтов контрреволюции, появляются и на теле самой революции язвы, ведущие к ужасам политического, а иногда и физического взаимоистребления самих носителей ее идеалов, наши товарищи, с именем и сознанием (в большинстве случаев неизвестно только чего), наносили удар за ударом не только своим единомышленникам, но и тем широким революционным трудовым массам, которые частенько в революциях бывают более чуткими, чем те, кто хотел бы им только советовать, не беря на свои плечи никакой ответственности, даже не задерживаясь на более или менее продолжительное время среди тех, которым советуют. Правда, не лучше понимали задачи революционного анархизма в революции и наши товарищи рабочие, в особенности же рабочие, которые в силу тех или других условий и обстоятельств, в большинстве своем чисто случайных, тоже возмнили, что они полны сил и знания, чтобы только советовать своим братьям по труду, не беря и не неся за свои советы никакой ответственности. Эти товарищи были еще более наглы в своем профессионализме. Но можно ли их за все это винить? Нет, нельзя. В их поведении виновата та расхлябанность, та дезорганизованность нашего движения, которая порождает в нем всевозможные отрицательные силы, губельно отражающиеся на его росте и развитии.

Моя недолгая жизнь в Ростове-на-Дону, мои встречи с анархистами, в особенности с анархистами, приехавшими в Ростов, а также ежедневный просмотр спекулянтской вечерней газетки «Черное знамя», все более притягивали мое внимание к этим развертывавшимся на моих глазах отрицательным сторонам, силой обстоятельств

укрепившимся в нашем движении и разъедавшим его здоровый революционный организм. Однако, несмотря на все это и даже на то, что дом ростово-нахичеванской группы при наступлении на Ростов контрреволюции немцев и Белого Дона был окончательно разграблен отступавшими с участием, говорили нам, тех, кто называли себя анархистами и только поэтому получили в нем приют, чтобы неделями, без всякого стеснения, свободно, *как приезжий, уставший, заслуженный работник движения*, валяться на его роскошной мебели, поплеывая в потолок, – несмотря на все это, я был полон веры и надежд, что впереди я встречу несравненно лучшее среди своих близких, дорогих товарищей. Вера и надежды эти во мне усилились после того, как я побывал на митинге, организованном местными ростово-нахичеванскими анархистами в Ротонде. Мысли, высказанные ими на этом собрании, показали мне, что и здесь имеются наши здоровые силы. Момент общего отступления революции приковал их к своим групповым планам подполья. И не их вина, если *заслуженные приезжие работники нашего движения*, в спокойное время находившие братский приют в доме анархистов, в момент тревоги и отступления не смогли отстоять этот дом, а пошли по течению грабежа и содействовали разграблению его обстановки и украшений.

С верой и надеждами на лучшее впереди, я с 30–35 товарищами из разных городов Украины в дни эвакуации революционного города Ростова-на-Дону пристроился при артиллерийской красной базе под командой симпатизировавшего анархистам товарища Пашечникова и ожидал выезда из Ростова на Тихорецкую, откуда артиллерийская база должна была пройти по Северо-Кавказской линии железной дороги, через Царицын и Балашов на Воронежский боеучасток фронта.

Все мы были зачислены как команда эшелона, и многие товарищи несли дежурства по охране его. Будучи уже при эшелоне, я еще раз три выступал перед рабочими ростовских заводов и фабрик от имени крестьянской группы анархистов с целью оттенить ту позицию, какую занимала спекулянтская вечерняя «анархистская» газетка «Черное знамя», а также осветить роль революционных анархистов по отношению и фронта против контрреволюции, и всех тех явлений, которые разрушали его. Однако момент для таких выступлений был неблагоприятный. Революционный Ростов в спешном порядке готовился к эвакуации. Командующий Ростовским округом Подтелкин переселился уже из особняка в вагон при двух паровозах на полных парах. Его примеру последовали и другие революционные учреждения. Само собой разумеется, что тревога власть имущих вызывала тревогу и среди населения, поддерживавшего революцию. Приезжее население и разные учреждения в Ростове начали первые бежать из него подальше. За ними потянулись военные и гражданские власти Ростова и его округа, а вместе с ними и то местное население, которое активно поддерживало дело революции.

Картина отступления, одних по направлению Лиски-Воронеж, других на другую сторону реки Дона, в Батайск, где красное командование воздвигало фронт и думало держаться до последнего, – картина была поистине кошмарная. Тем более что при отступлении среди населения, и казачьего населения в особенности, которое в это время в массе стояло еще на раздорожье красной левизны и белой правизны, быстро рождались кадры воров, которые поддерживались профессиональными ворами, вообще разъезжавшими по стране, хватая то там то сям рыбку в мутной водиче. Грабежи росли с необыкновенной быстротой и в чудовищном масштабе, росли под влиянием исключительно низменных страстей грабежа и мести: мести и тем, кто радовался победам контрреволюции, и тем, кто по-обывательски занимал нейтральную позицию...

Наблюдая, поскольку это можно было, за чуждыми революции явлениями, я не один раз задавал себе вопрос: неужели с этими явлениями нельзя справиться?

И находил ответ: да, в такие минуты, как поспешное отступление авангарда революции, почти невозможно обращать свои взоры туда, где не можешь и на минуту задержаться и устыдить тех, кто пользуется неограниченным правом свободы, не неся никакой ответственности в борьбе за ее реальное воплощение в нашу практическую социально-

общественную жизнь. А между тем, чтобы впитать в себя реальную свободу, эта жизнь нуждается в прямом и искреннем содействии со стороны людей, которые одни только и могут осуществить и защищать для себя и для своего общества, и через общество, такую свободу.

Вставали передо мной и другие вопросы при наблюдении за ростовскими явлениями в дни эвакуации революционного Ростова. Например: не создаются ли эти явления «официально» подпольными организациями контрреволюции? Ведь это так возможно и так выгодно в смысле компрометирования революции в глазах масс, так полезно для подкрепления контрреволюционных сил. Но... режущий глаза факт вагонов, переполненных всевозможными проходимцами, переезжавшими на сторону отступавшего населения, в тыл революционного фронта, не позволил мне сделать заключение по этому вопросу. И с болью на сердце, полным сил и боевой энергии революционера-анархиста, я простился с Ростовом, с которым духовно был так связан через газету «Анархист», которая у нас, в Гуляйполе, читалась всегда с особым интересом и крестьянами, и рабочими...

Глава VI

В пути с эшелоном Красной артиллерийской базы

Вследствие загромождения железнодорожной линии отступающими мы ехали от Ростова до Тихорецкой около двух суток. Так как у нас не было запасов хлеба и других продуктов, то в Тихорецкой командир эшелона послал наших товарищей на базар купить эти продукты, рассчитывая на недавнее еще право каждого красногвардейского отряда иногда совсем не платить торговцам, а если платить, то одну треть стоимости.

Товарищи пошли, потянув и меня с собой. Накупили по списку всего с расчетом, чтобы хватило до города Царицына, в который мы рассчитывали прибыть через неделю.

Лавочники сами погрузили товар на извозчиков, но когда дошло до расчета, и они увидели, что товар у них реквизируется, они резко запротестовали. Протест их опирался на шаткое, беспочвенное положение большевистско-левоэсеровской власти в этом районе. То было время, когда в этой местности оперировали сотни белогвардейских отрядов и население молчаливо стояло на их стороне. На этот протест лавочников сбежались красные власти. Они приказали Тихорецкому гарнизону оцепить эшелон артиллерийской базы и далее не пропускать до их особого распоряжения.

Когда эшелон был оцеплен верноподданническими войсками (которые, видно было, сами еще не поели своих запасов, даже не реквизированных, а просто набранных у различного рода торговцев), тихорецкие «революционные» власти вызвали от команды эшелона артиллерийской базы двух человек для выяснения вопроса о попытке реквизировать продукты первой необходимости.

Командир Пашечников упросил меня и товарища Васильева (из юзовской анархической организации) пойти на вызов тихорецких властей и объясниться с ними.

Мы пошли, а власти нас арестовали и в вежливой форме заявили, что мы подлежим расстрелу в военном порядке.

Я сперва думал, что представитель власти шутит, и ответил ему:

«Хорошо, что мы попадаем под расстрел в военном порядке, а не прямо к стенке»... Но вижу, с нами не шутят. К нам приставили двух вооруженных преглупейших казаков, которые без всякого стеснения, вслух говорят между собой, что на нас хорошая одежда и жаль только, что одна из них, моя одежда, будет мала на них.

Товарищ Васильев говорит мне: «Нужно требовать сюда председателя революционного комитета. Ибо может случиться, что ему доложат, что задержали из какого-то эшелона двух грабителей, а он ответит: „Расстрелять их“. Тогда никакие протесты не помогут. Нас сразу же сплавят...»

Мы тут же начали требовать председателя ревкома. Но в ответ нас обвиняли в контрреволюции. На шум и пререкания наши со стражей приезжал какой-то

«революционный» чинишка, накричал на нас и на стражей. Последние, чтобы оправдаться, избили нас прикладами. Это так вывело меня из себя, что я дал пощечину одному из стражей и начал кричать во весь голос: «Давайте сюда товарища председателя революционного комитета. Я хочу знать, что это здесь за хулиганье собралось и под знаменем революции проводит свои гнусные, контрреволюционные дела...»

Крик и ругань мою услышали во всех комнатах революционного комитета, и многие представители власти выскочили к нам. Однако никто ничем нам не помог. Нам пришлось еще около часу скандалить, и скандалить так, что наши охранители в конце концов отошли от нас к двери и раскрыли ее.

Власти запротоколировали скандал. Через некоторое время нас вызвали к председателю революционного комитета. Этот владыка нас опросил и тоже грозил расстрелом, пока товарищ Васильев не заявил ему: «Вы можете расстреливать нас, но сперва скажите нам, кто вы такой? Кто избрал вас главой органа революционного единения?..»

Эти мысли товарища Васильева мною были подхвачены заявлением: «Не так давно, всего две недели, я оставил руководящий революционный пост по защите революции. Мне лично приходилось встречать многих революционеров, но я не видел у них такого хулиганства, как здесь у вас». Я объяснил ему, зачем нас вызвали в революционный комитет, что нам объявили и как обращались с нами представители власти и их слуги казаки, которым все еще кажется, что и революция на манер самодержавия держит путь через их нагайки и приклады...

Председатель, нервничая, кусал ногти. Иногда перебивал меня. Потом с извинениями попросил у меня документы.

Я дал ему сперва мой старый документ, свидетельствующий о том, что я – председатель Гуляйпольского районного Комитета защиты революции; затем документ, свидетельствующий о том, что я – начальник вольных батальонов революции против контрреволюции немецко-австро-венгерского юнкерства и Украинской Центральной рады.

Владыка наш долго держал в своих руках мои документы, а затем вдруг, поднявшись со стула, сказал: «Черт подери, и на самом деле меня окружают какие-то дураки. Вы извините, товарищи, здесь какое-то недоразумение. Я все это выясню. Вы свободны и идите в свой эшелон. Я о нем имею сведения: он должен без всяких задержек двигаться по своему маршруту».

Так, перенервничав, получив по несколько ударов прикладами, переболев душой и телом за четыре с лишним часа под глупым арестом, мы освободились и приехали к своему эшелону, который все еще находился под охраной местной власти.

Пока мы рассказывали товарищам о происшедшем, охрана эшелона была снята. Эшелон выталкивали из тупика на прямую линию с целью дать ему возможность двигаться далее.

Через час мы уже ехали по линии Северо-Кавказской железной дороги. Перед нами расстились равнины казачьих земель, частью покрытые зеленью озимых и яровых хлебов, частью же кормовыми травами, в особенности пыреем и целиной-травой, с отдельными, выше ее простирающимися мелкими, но многочисленными кустиками серебристого ковыля. Плодородие этих земель, на которых когда-то осели потомки монгольских завоевателей (впоследствии, в процессе своего обособленного развития, независимого от княжеских, а затем и царских глупых режимов образовавшие казачье войско с особыми привилегиями от царей), – плодородие это, по описаниям, было известно мне и раньше. А теперь, когда я увидел эти равнины, покрытые сочными кормовыми травами, озимыми и яровыми хлебами, обещавшими быть урожайными, я сам убеждался в этом необыкновенном плодородии, и радовалась душа, что в этих зеленых, толстых и сочных стебельках растет великая, не подлежащая цифровой оценке помощь революции. Нужно только, чтобы революционные власти поумнели и отказались от многого в своих действиях; иначе ведь население пойдет против революции; иначе население, трудовое, не найдет в завоеваниях революции полного удовлетворения и одним только своим отказом оказать революции добровольную,

материальную (в смысле пищи) помощь нанесет ей удар несравненно более сильный, чем какие бы то ни было вооруженные отряды калединской, корниловской или иной контрреволюции... Но в пути мне попадались газетные сведения. И рассказывали они о том, как революционные власти там-то разгромили анархистские группы, там разогнали социалистические собрания, там подозревают крестьян в контрреволюционности и готовятся разорвать их трудовой организм на части с целью обессилить его и произвольно подчинить условиям города... Сведения эти говорили мне, что революционные власти не умнеют, а дуреют, и этому не может воспротивиться «мудрость» Ленина. Ибо и она, эта мудрость Ленина, позволившая революционной власти большевиков и левых эсеров, так быстро и высоко подняться над революцией и исказить ее подлинный антигосударственный смысл, оказывается бессильной понять, что, урезывая права анархической мысли на свободу и связанную с ней творческую революционную деятельность среди крестьян, власть тем самым становится на путь контрреволюции. А на этом пути, вынужденная в дальнейшем прикрывать свое истинное существо, она уже не может сознавать свои ошибки, ведущие к гибели и революцию, и ее самое. Правда, все эти газетные сведения о дурной, по моим заключениям, деятельности революционной власти казались мне несколько сгущенными. А то обстоятельство, что действия революционных властей на местах не находили себе истинных сторонников в недрах широкой трудовой революционной массы на Украине, мне казалось, окажется хорошим уроком для центра, и я смогу еще встретить в России события, которые меня обрадуют и которым я отдам свои полные энергии революционно-боевые силы. Да, да, говорил я себе, это должно быть так... И у меня появлялась надежда, что и большевики, и левые эсеры, как революционеры, не откажутся от того, чтобы серьезней подумать о положении революции, о тех силах разрушения и созидания, которыми она живет и благодаря которым может еще, при всем своем нынешнем уродстве, выровнять свою линию и оправдать великие надежды трудящихся...

Воодушевляясь этой мыслью, я, при стоянке в Великокняжеской станице, выступил на одном митинге казачьего населения, призывая его порвать всякие связи с прошлым, осудить акты восстания белого казачества и активно выступить на защиту революции.

– Казачество Дона, – говорил я, – должно раз и навсегда осудить свое прошлое, которое делало казаков палачами всякой свободы, всякого свободного начинания в жизни русского народа. Вместо жалких царско-помещичьих привилегий, которые казачество получало за свою дикую удаль в позорной кровавой борьбе с трудовым народом, казаки должны взять в руки оружие против тех, кто награждал их до сих пор этими привилегиями, кто дурачил их, используя их боевые силы против народа и его стремления к свободе, к новому свободному обществу...

Казаки говорили: *«Мы все стоим за революцию»*. Некоторые из толпы, однако, выкрикивали: *«Мы до сих пор не пойдем, за что нам быть: за революцию или за те земли, которые революция у нас отымает, за те косяки (косяки – это табуны лошадей), которых мы растили, а у нас их забирают...»*–*«Это не у нас коней забирают, их забирают у нашей буржуазии»*, – перебивали их третьи голоса из казачьей же толпы... Долго беседовали мы потом на эту тему. Но только что беседовали, а решений никаких. Это и понятно. Казачество того периода революций в общем держалось еще крепко за идеи своего старого наказного атамана и войскового круга, которые еще верили во внутренние русские контрреволюционные силы и, в надежде на их поддержку, подняли большую часть казачества против революции под лозунгом обусловленной конституцией царской короны Романовых.

* * *

В дальнейшем пути по линии Северо-Кавказской железной дороги на одном из полустанков, перед станцией Котельниково, наш эшелон был задержан на несколько часов по случаю налета белогвардейского казачьего отряда на близко от станции расположенные

хутора. К эшелону собралось много казаков. Все они суетились, высказывая соображения о том, чтобы общими усилиями отбить возможное нападение этого отряда как на станцию, так и на эшелон артиллерийской базы. Наша команда вооружилась. Установили на платформах в разные стороны легкие полевые орудия, так как отступать назад от количественно незначительного кавалерийского отряда мы не думали. Тем более что само население было с нами. Оно быстро и аккуратно сообщало нам, когда и где этот отряд останавливался и в какую сторону двигался. Однако странная суетливость толпы настолько усиливалась, что у меня невольно явилась мысль: нет ли во всем этом какой-либо провокации?

Я предложил командиру артиллерийской базы двигаться вперед, высказав ему свое подозрение как по поводу чересчур уж аккуратных сообщений нам о белогвардейском казачьем отряде со стороны казачьего населения, так и по поводу того, что толпа казаков, не отходя от нашего эшелона, что-то уж больно суетливо переговаривается меж собою. Мое подозрение сводилось к тому, что это казачье население является сторонником восстания белых и попытается нас обезоружить.

Выслушав меня, командир эшелона расстроился и чистосердечно сознался, что он теряет, не знает, что делать, чтобы население, сгруппировавшееся на полустанке спереди и сбоку нашего эшелона, отошло подальше, в стороны, так как, дескать, если оно намерено нас разоружить, то оно при первом же нашем свистке отхода бросится на нас. И будет лишняя кровь, будут лишние жертвы, жертвы главным образом с нашей стороны, если первый наш огонь окажется несвоевременным и не по цели. «Помогайте мне, – сказал командир. – Я буду рад. Ваша помощь подбодрит меня. Я буду решительнее». Я предложил командиру, во-первых, немедленно распорядиться, чтобы артиллеристам стать у боевых орудий (с целью пристрелки по горизонту, откуда может появиться белогвардейский отряд), а во-вторых, предупредить машинистов локомотива, а также дежурного по станции: первых о том, чтобы, раз тронувшись с места, не останавливались уже до следующей станции, а второго о том, что мы-де снимаемся с места для продвижения вперед только версты на две-три, чтобы сделать хорошую пристрелку по всем сторонам и возвратиться обратно. (Только в этом случае можно было ожидать со стороны дежурного по станции правдивого сообщения о том, свободен ли путь.)

Командир сделал все, что я предложил ему, в мгновение ока. Затем мы попросили казаков, толпившихся возле полустанка спереди и сбоку нашего эшелона, удалиться на время в сторону, противоположную той, куда будут лететь снаряды. И мы тронулись вперед с редкой стрельбой из пулеметов в пространстве. Когда полустанок с многочисленными возле него казаками-ротозеями (которые, быть может, и не думали о том, чтобы обезоружить нас) остался позади, наши локомотивы запыхтели сильнее и мы помчались полным ходом по направлению к станции Котельниково, убеждая друг друга в том, что если бы мы оставались на полустанке до ночи, то были бы обезоружены и наполовину, если не все, расстреляны.

Командир эшелона зазвал меня и товарища Васильева к себе в купе и с особым уважением изливал мне свои чувства благодарности за то, что я натолкнул его на решительное действие. Нельзя сказать, чтобы эта его благодарность не ласкала моих эгоистических чувств. Но я тут же с болью думал о том, как не подготовлены революционеры к практическим, разнообразным по характеру самостоятельным действиям в революции, несмотря на то что они всю свою тяжелую жизнь проводят в подготовке революции.

Прибыв на станцию Котельниково, мы узнали, что отсюда редко какой отряд пробивался далее. Все отряды по распоряжению из центра здесь задерживались и разоружались, подвергаясь тщательной проверке: из кого они состоят, каким пропитаны духом и т. д.

Отряды, которым удавалось воспротивиться разоружению здесь, далее Царицына все же не продвигались. В Царицыне они разоружались. И отряды, в которых не оказывалось «контрреволюционного», с точки зрения власти, элемента, снова вооружались и вливались в какую-либо красноармейскую часть. Отряды же, в которых обнаруживалась

«контрреволюционность» (а для этого достаточно было, чтобы командир его был анархистом или беспартийным и имеющим свое суждение о делах новой власти революционером), разгонялись, а то и расстреливались, как это было, например, с Петренко и частью его отряда в Царицыне.

За неумелость и беспомощность новой социалистической власти заинтересовать широкие трудовые массы делом добровольной вооруженной защиты революции, на которую со всех сторон двигалась вооруженная контрреволюция, тяжелее всего расплачивались отряды, которые были скомплектованы из украинского элемента. С этими отрядами большевистско-левозеровская власть абсолютно не церемонилась. Благодаря своей «дальнозоркости», она видела в этих отрядах то, чего в них не было. И она опасалась пропустить их на Курск и Воронеж, откуда украинские революционные рабоче-крестьянские отряды, отступавшие из Украины, думали с помощью сил русской революции прорваться обратно в центр Украины, чтобы снова при помощи уже некоторого опыта сразиться с контрреволюцией немецко-австро-венгерского юнкерства и Украинской Центральной рады. Сердце обливалось кровью, когда приходилось наблюдать за черным делом власти, совершавшимся над людьми, в которых было так много революционного духа, но к которым нужно было уметь подойти, чтобы пробудить в них этот дух и помочь ему пробиться на простор, не мешать его свободным творческим выявлениям в общем деле трудящихся, в деле подлинного экономического, политического и духовного освобождения.

Здесь же, на станции Котельниково, усердные агенты центра поспешили предложить сложить оружие и артиллерийской базе. Для нас, анархистов, ехавших с этой базой, это было особо показательным примером того, как глупы бывают лакеи со звездами на лбу и орденами Красного Знамени на груди. Они даже не подумали запросить, что из себя представляет наш эшелон, чей он и куда направляется, а просто прислали человека заявить командиру эшелона сложить оружие.

Слушая заявление сложить оружие (в противном случае, дескать, силой разоружат), командир эшелона, зная свои обязанности, имея при себе распоряжение красного командования вовремя быть в Воронеже, с ума сходил и в отчаянии готов был возвращаться назад, по направлению Тихорецкой.

Мы, анархисты, пришли ему на помощь. Мы убедили его в произвольном, преступном действии агентов центра по отношению к революции. И на этом основании мы все предложили ему открыть орудийный и пулеметный огонь по станции, разрушить ее и расстрелять власти, которые так подло действуют во вред делу защиты революции.

Когда команда эшелона заняла свои места у орудий и пулеметов и властям был предъявлен ультиматум – очистить эшелону путь дальнейшего продвижения или оказаться под нашим огнем, то гнусные контрреволюционные (хотя и со звездами на лбу) заправила по разоружению разбежались. Путь для дальнейшего нашего продвижения вперед по направлению к Царицыну был свободен. И мы, оставив станцию Котельниково «неприкосновенной», двинулись далее.

В пути командир эшелона очень беспокоился, что прибег к таким крайним мерам на станции Котельниково (по отношению, по-моему, контрреволюционных властей). Но другого выхода не было. Это он сознавал. И это сознание подготавливало его стать пред судом власти – если придется – с достоинством революционного солдата, призванного, как он выражался, сознательно служить делу революции.

* * *

На пути от Котельниково до Сарепты (станция, расположенная в 24 верстах от Царицына) я тоже начал хандрить. В голове стали появляться какие-то несурзные мысли о том, что революции суждено погибнуть по вине самих революционеров; что на пути ее развития стоит палач из рядов революционеров, имя которому – правительство: правительство двух революционных партий, которые, при всех своих потугах, подчас

колоссальных и достойных уважения, не могут вместить в рамки своих партийных доктрин ширь и глубину жизни трудящихся. В связи с ростом и развитием революции, думалось мне, трудящиеся все яснее и определеннее проявляют свой интерес к ней, свой интерес к тому, чтобы найти в ней тот простор, ту свободу, которая позволила бы им реорганизовать свою жизнь на совершенно новых началах, независимо от тех или других правителей, не живущих их жизнью и, следовательно, беспомощных понимать ее, давать ей то или другое направление... Сперва я думал, что эти мысли о положении революции и о вытекающих из него последствиях – случайные мысли, порожденные контрреволюционными явлениями, с которыми я встретился на своем пути с эшелонами артиллерийской базы. Но скоро я убедился, что мысли эти не случайны. Контрреволюция жила всюду, где только могла: жила она и в массах, жила она и в тех, кто сидел в центре и приказами заставлял революцию на местах вращать свое историческое колесо. Я ее видел ясно. И от этого мои надежды встретить впереди лучшее начали расстраиваться и уплзать. И больно, и тяжело становилось на сердце. Иногда я делался зол на всех и вся, притом на себя в первую очередь, за все те промахи в деле организации вольных батальонов против контрреволюции на Украине, которые теперь еще более были мне чувствительны...

Но вот мы на станции Сарепта. Вокруг нее большие лесные пристани, лесопильные заводы. Здесь тысячи рабочих. Я загораюсь страстью побывать на их митингах и в пылу этой страсти забываю все, о чем только что болел сердцем.

А когда командир эшелона сообщил мне, что станция получила распоряжение из Царицына, в силу которого путь на Царицын закрыт для всяких воинских эшелонов, и что мы задержимся здесь, видимо, на несколько дней, я совсем подпал под влияние внутренней, бессознательной, но сильной страсти побывать среди рабочих на их митингах, услышать, что они думают о революции, о ненормальных явлениях в рядах ее носителей и защитников и т. д. и т. п.

Наши товарищи разбрелись всюду по поселкам... Они узнали, где и когда рабочие собираются. И на другой день (это был день отдыха) мы, несколько человек, выступили на митинге сарептских лесопильщиков-рабочих. Здесь мы выяснили, что рабочие тесно связаны с делом революции; что они все стоят за Советы, в которых первое место и руководящая роль должны принадлежать им, рабочим; что всякие партийные представители могут участвовать в этих Советах в том лишь случае, когда рабочие сознательно считают себя родственно связанными с их идеями...

Мы узнали от рабочих на этом митинге, что они известный процент своих товарищей уже проводили на фронт вооруженной борьбы против Белого Дона (так называлось казачье контрреволюционное движение).

– Одного мы никак не можем понять, – говорили нам на этом митинге рабочие, – мы здесь все строимся к организации своих сил для развития и защиты революции и тех идей, которые двигают революцию. А в Москве, и в других больших городах нет такого единства. У нас и большевики, и левые эсеры, и анархисты организованно стоят за то, чтобы разбить контрреволюционное движение казаков. Даже по инициативе анархистов мы начали практиковать выделение известной части наших сил на фронт, против этого дикого казачьего движения, с таким расчетом, чтобы и заводы не стояли.

А там, в Москве и других городах Центральной России, анархистские организации разгоняются, непокорные расстреливаются...

И тут же один из рабочих берет старый номер уже потертой большевистской газеты и просит одного из моих друзей прочесть вслух статью о разгроме анархистов на Малой Дмитровке (в Москве).

– Чем объяснить все эти действия нашей советской власти? – кричали голоса из толпы.

Надо представить себе наше сознание, что мы стояли перед революционными рабочими, среди которых было немало большевиков, эсеров и анархистов, безымянных борцов за свои идеалы, борцов, умевших в минуты дискуссионной страсти ненавидеть друг друга, кричать друг на друга, топтать ногами и махать чуть не под носом руками, но умевших

в то же время и понимать друг друга, признавать за каждым право на свободную проповедь «своего», выступать, бороться за «свое»...

Они, эти безыменные, вышедшие из трудовой семьи революционные борцы, понимали значение для революции проповедоваемых ими идей лучше, чем воцарившиеся за счет их труда и усилий верхи, заседавшие в Кремле... Они, эти безыменные борцы, с большим достоинством, чем их верхи, оценивали роль своих идей в революции. Поэтому они признавали равное право за каждым революционером проповедовать свои идеи. Они ценили жизнь этих людей... И поэтому их революционное чувство не могло не тревожиться за гнусные действия своих верхов в центре. Их совесть была беспокойна, ибо она была чиста по отношению к революции, порожденной и двигавшейся так или иначе всеми революционными идеями. А анархическая идея в этом смысле занимала чуть ли не первое место. Сознательные рабочие-революционеры не могли этого не сознавать. И поэтому, когда они услышали о гнусных деяниях своих вождей против анархистов, они болели за это их постыдное хамство.

С особой резкостью против разгрома анархистских организаций в Москве и преследования всюду активных анархистов (как о том сообщала большевистская печать) выступили товарищи Васильев и Тар. Рабочие большевики и левые эсеры с болью в сердце сознавали право за анархистами на такие выпады против зарвавшихся их любимцев – Ленина и Троцкого. Мне же, отступившему из Украины, мне, которому приходилось в таких трудных условиях работать во имя торжества революции, которую теперь оседлали государственники и пытались задушить, мне было еще больнее, так как я предвидел последствия разгрома анархистских организаций: я предвидел, что теперь всякий неустойчивый и недоброкачественный элемент начнет перебегать из анархических рядов на сторону сильных, отрекаясь трижды от анархизма, и под диктовку сильных будет топтать и грязнить анархизм. Это вызовет еще большую дезорганизованность. Лучшие работники анархизма очутятся в ВЧК и за смелое утверждение высшей социальной справедливости и индивидуальной неприкосновенности человека умрут с великими мучениями по застенкам ВЧК.

Но не все то, о чем я думал во время выступления моих товарищей, я говорил на митинге. То был момент, когда я фанатически горел. Революция, выявление в ней анархического бунтарства и его творческих начал в деле практического социально-общественного строительства были для меня главными путеводителями. На этом деле я надеялся все-таки встретить если не всех, то громадное большинство своих идейных товарищей в центре России. Мне казалось, что задача спасения революции поможет анархистам твердо стать на путь выявления тех творческих задач, которые анархизм поставил себе в этой чуждой буржуазно-республиканского либерализма русской революции. Я верил, что большинство анархистов будут жить надеждой если и не разрешить полностью эти задачи, то, во всяком случае, сроднить с ними трудящихся настолько, чтобы трудящиеся поняли эти задачи не в извращенном большевиками смысле и поспешили бы, в новой решительной борьбе за свое подлинное освобождение, разрешить их вместе с анархистами, так как от своевременного и правильного их разрешения будет зависеть весь дальнейший процесс революционного продвижения вперед на пути творческих достижений освободительного движения трудящихся. Поэтому, выступая перед рабочими сарептовских лесопильных заводов, я останавливался, главным образом, на мысли найти общий революционный язык с широкой массой революционных тружеников, осадить зарвавшихся Ленина и Троцкого и призывать к спасению общими усилиями революции, с одной стороны, изнемогавшей под ударами организованной контрреволюции, а с другой – задыхавшейся в петле новой государственности.

Рабочие все были на моей стороне. Ни один из большевиков не протестовал, кроме провокаторов, донесших об этом нашем выступлении в Царицынский революционный комитет...

После этого митинга рабочие обещали устроить еще ряд собраний и просили нас

прийти и выступить с продолжением того, что мы затронули на этом митинге. Но нам больше не удалось посетить этих рабочих. На другой же день после митинга на станцию Сарепта прибыл мадьярский большевистский конный отряд из Царицына и, оцепив эшелон артиллерийской базы, предложил командиру эшелона Пашечникову «выдать ему всех анархистов, которые, по их сведениям, пробираются в этом эшелоне в Царицын». Мандат на арест анархистов был подписан командиром Царицынского фронта Гулаком и, если не ошибаюсь, председателем революционного комитета Мишиным.

Командир нашего эшелона заявил скороиспеченным мадьярам-коммунистам (они все были пленные солдаты австро-венгерской монархической армии): «Под моей командой нет никакой анархической организации. Артиллерийская база обслуживается революционной прислугой, убеждений которой я не знаю, но знаю, что прислуга эта достойна звания революционеров, и с ней я пробираюсь на Воронежский фронт».

Коммунисты-мадьяры тотчас же выстроились в колонну и, рассчитавшись по порядку номеров, уехали обратно в Царицын.

Мы все недоумевали: почему они так быстро снялись? Потому ли, что командир своим ответом их удовлетворил? Или потому, что как раз в это время на станцию Сарепта начали прибывать эшелоны чехословаков, которые держали направление на Сибирь и которых красное командование свободно пропускало, не подозревая, что они объединятся с контрреволюцией Колчака и окажут ей помощь в борьбе против революции?

С чехословаками мадьяры ссорились, когда были еще на положении пленных; а теперь, когда и те, и другие были вооружены, они, видимо, как следует поскандалили бы.

Я лично считал, что коммунисты-мадьяры поспешили оставить наш эшелон в покое по случаю прибытия чехословаков, ибо ответ командира нашего эшелона, как он ни был хорош по тону, не мог удовлетворить тех, кто имел в руках мандат для ареста анархистов. Этот ответ оказался удовлетворительным для них только тогда, когда прибывавшие чехи, увидя мадьярские шапочки, начали кричать, гикать и свистать на них.

Через сутки после посещения нас коммунистами-мадьярами мы тоже оставили приветливую Сарепту и прибыли в Царицын. Здесь мы расстались с эшелоном артиллерийской базы, ибо надеялись встретиться с анархистами и узнать о действительном положении революционных дел вообще в стране.

Командир и команда эшелона очень грустили. Многие из команды, как и сам командир, хотели бы, чтобы мы вместе с ними продвигались далее, к Воронежу, а там и на фронт. Но многие из нас решили в Царицыне разбиться по два-три человека и разъехаться по своим организациям, если таковые еще уцелели по городам. Мы простились с командой эшелона и, заручившись разрешением в первые дни, пока мы не найдем себе квартир, а эшелон будет стоять на станции, приходиться в него на ночь спать, разошлись по городу.

Царицын был, видимо, в какой-то тревоге: возле Совета пост с автоброневиком; к революционному комитету трудно подойти, стоит усиленная охрана. Красные сыщики, в то время еще не столь опытные, но уже многочисленные, всюду снуют, что-то обнюхивают, кого-то как будто ищут.

Казалось, над городом нависли черные тучи грозы. Многие мои подорожные товарищи, мне не известные, но называвшиеся анархистами, были в недоумении: что бы это значило, что царицынские революционные власти так себя охраняют, что трудно добраться до них?..

Всюду: по паркам, в столовых, возле вокзала и в других общественных предприятиях – слышен разговор о герое, не позволившем себя разоружить соплякам, которые сидят в городе, словно кем-то избранные боги.

В чем дело? Это нас интересует. Начинаю ближе и серьезнее прислушиваться. Начинаю расспрашивать, кто этот герой.

– Да какой-то сибиряк Петренко! – отвечают мне. – Наши-то правители, никем не избранные, захотели показать, что они сильная власть и могут все сделать. Они выехали навстречу какому-то красногвардейскому отряду под командой сибиряка Петренко. Так он вот какого задал перцу нашим правителям!.. Ну, вот они, кто остался целехоньким, прибегли

и весь город взбунтовали: говорят, пишут, кричат на митингах, что этот сибиряк Петренко идет боем на Царицын. Нужно-де его обезоружить...

Зная отряд Петренко, а также то, как власти по линии Северокавказской железной дороги поступают с каждым красногвардейским отрядом, я в живых чертах представил себе весь рассказ обывателей Царицына. А через сутки жители Царицына и облежавших его поселков-хуторов пережили на себе столкновение красногвардейского отряда Петренко с царицынскими красными правителями и их красноармейскими частями.

Глава VII

Бой отряда Петренко с Царицынской властью. Хитрости власти и арест Петренко

Как известно из первой книги моих записок («Русская революция на Украине»), красногвардейский отряд под командой Петренко отступил (под натиском немецко-австро-венгерских армий) от красного фронта мелитопольского направления самым последним.

Этот отряд последним отступил и из-под Таганрога. Отряд был боевой и числился в рядах первых по боеспособности красногвардейских отрядов, какими были анархистские отряды под командой Мокроусова, Марии Никифоровой, Гарина и большевистские под командой Полупанова и Степанова. Теперь отряд Петренко по примеру многих отрядов направлялся на другие красные фронты. По непроверенным данным, Петренко был из Сибири и получил разрешение из центра перебраться на Сибирский красный фронт, против контрреволюции генералов Дутова – Колчака.

Но власти «Царицынской Советской Республики» приказали разоружить его еще в пути, до Царицына. Отряд Петренко не подчинился этому приказу и, разбив высланные против него красные части, подошел к Царицыну в надежде выяснить недоразумение, тормозящее его передвижение вперед, и поехать далее. Однако власти во главе с Мининым и Гулаком (Ворошилов тогда только подымался и многим не казался еще таким великим, как первые два, хотя он был уже тогда умнее и выдержаннее их) решили разоружить отряд Петренко во что бы то ни стало. Носились слухи, что военный народный комиссар Троцкий тоже был согласен на разоружение этого отряда. Это еще более ободряло царицынских правителей в их выступлении против отряда Петренко.

Но Петренко, как и его отряд в целом, сознавая за собою крупные революционные боевые заслуги на Украинском фронте против контрреволюции, не мог примириться с тем, чтобы их – ничем противореволюционным себя не запятнавших – имели право разоруживать те, кто до того времени революционного боевого фронта даже не видел, а со спокойной совестью сидел себе определенные часы в ревкомитетах, по городам, и подписывал не всегда для дела революции полезные бумажонки, а в свободное время преспокойно прогуливался в парке или на катере по широкому раздолью Волги с одной-двумя «свободными работницами революции», как их называли грубоватые, но честные сотоварищи Петренко по оружию.

Поэтому отряд Петренко и на сей раз запротестовал против того, что власти приказали ему сложить оружие, и запротестовал так, как может протестовать революционный боец, веривший в идею солидарности равных, но увидевший власть и ее подлое поползновение оседлать революцию, загнать ее в чисто партийные рамки, кастрировать ее в интересах политического господства партии.

Отказ отряда Петренко сложить оружие пред властью Царицынского ревкома вызвал вооруженное наступление против него. Из города потянулись красноармейские части, которые всего несколько дней как сбросили с себя имя красногвардейских и как будто стройнее шли на бой, поддерживая престиж армейщины. За ними тянулись пулеметы, орудия. Жители города насторожились. Кто не знал, в чем дело, расспрашивал другого.

А контрреволюционная сволочь всюду рыскала в толпе и нюхала: не подошли ли казачьи белогвардейские отряды к Царицыну, не время ли начать в тылу революции свои грязные контрреволюционные делишки решительнее и более открыто. И когда эта сволочь

узнавала, что казачьи белогвардейские отряды от Царицына слишком далеко, а бой затевается, между своими, она хотя и радовалась, но решительность свою теряла и натягивала поплотнее свои маски.

Какая-то жуть охватывала нас, украинских революционеров, отступивших из Украины и надеявшихся встретить в России всех тружеников за прямым своим делом – за революционным строительством, свободным и самостоятельным, чуждым какой бы то ни было политической авантюры со стороны тех, кто подошел к ним под флагом социализма и на словах стремился помочь им избавиться от векового рабства. Мы встретили всюду ложь, приказы и окрики начальников, поддерживающих эту ложь.

Вооруженное наступление против отряда Петренко особенно подчеркивало торжество лжи над правдой, правдой, на основе которой трудящиеся с первых дней революции пытались закладывать фундамент своего нового свободного общества и с этой целью распределяли свои силы, группируя их в армии построения этого общества и защиты его. Хотелось броситься навстречу шедшим против отряда Петренко красноармейским колоннам и кричать: «Куда вы идете? Вас ведут убивать своих – тех, кто честно боролся на фронте революции и не по своей вине отступает с мыслью, чтобы с другой стороны, на другом участке ударить против контрреволюции...» Хотелось тем более остановить эти колонны, что они были в шесть-семь раз многочисленнее отряда Петренко и лучше вооружены. Однако то обстоятельство, что части уже наэлектризованы и двинулись с места, что их уже никто и ничто со стороны не может остановить, меня удерживало от вмешательства, и я с тяжелой болью в душе постыдно остановился и стал в ряды нейтральных наблюдателей за черным делом власти: власти новой, рожденной и воспитывающейся под влиянием «социализма»...

Царицынские красноармейские войска проходили уже Северокавказский вокзал Царицына, вытягиваясь по направлению хутора Ольшанское, где остановился эшелон с отрядом Петренко. Казалось, они его сотрут. Но... закаленные в длительных боях с отрядами Центральной рады и немецко-австро-венгерскими армиями, рабочие и крестьяне отряда Петренко верили в свою правоту, и эта вера вселяла в них дух стойкости революционных бойцов, держащих в своих руках оружие не по принуждению, а добровольно и во имя подлинного освобождения трудящихся.

«С этой здоровой мыслью, – говорили мне впоследствии бойцы из отряда Петренко, – мы шли на фронт против контрреволюции Украинской Центральной рады и ее союзников – немцев, мадьяр и австрийцев. С этой же мыслью мы решили встретить и людей, продавшихся власти, шедших нас здесь убить».

Я наблюдал начало боя. Я видел, как отважно сражались обе стороны. Видел также, что на стороне отряда Петренко было все население хутора Ольшанское и прилегающих к нему других хуторов. Оно возило воду, хлеб, соль отряду Петренко. Оно собирало винтовки и патроны для него, все время и вовремя ставя его в известность о том, откуда его обходят и откуда могут обходить войска власти.

Я видел, наконец, как отряд Петренко, в 6–7 раз уступавший числу своих убийц, обратил этих последних в бегство, заставив бросить не только подбитые автоброневики, но и целые – с ранеными и убитыми бойцами.

Однако отряд Петренко, как и сам Петренко, этим выгодным для себя положением не воспользовался. Как революционный отряд, до сего времени действовавший в солидарности с революционной властью, он хотел от нее только справедливого разрешения случившегося; или если она стыдится разрешать в справедливой форме то, что сама же натворила, то от нее требовали только открыть отряду свободное продвижение через Царицын в требуемом направлении.

Тогда власти прибегли к иезуитской хитрости: они предложили переговоры отряду Петренко. А когда переговоры приближались к концу и Петренко нечего было уже остерегаться (как утверждали бойцы из его отряда), власти схватили Петренко и заточили в тюрьму, а от отряда потребовали якобы даже за подписью самого Петренко сложения

оружия. Этот иезуитизм царицынской власти помог ей обезоружить отряд и, раздробив его, влить в красноармейские части, некоторое время не давая разбитым по частям бойцам оружия на руки.

* * *

Как раз в то время, когда Петренко был схвачен и посажен в тюрьму, а его отряд обезоружен и разбит на группы по верноподданническим красноармейским частям, находившимся в эшелонах на Северо-Кавказском царицынском вокзале, я посетил некоторых из этих бойцов с целью разузнать о характере переговоров, которые велись после боя их с властью, а также о судьбе арестованного их командира. Бойцы эти знали меня еще из Украины: вместе с ними я и мои товарищи гуляйпольцы отступали до Таганрога. Они не ожидали от меня злонамеренных подходов. Они знали, что я анархист-коммунист, и были откровенны в своих разъяснениях сути дела.

Все они с особой радостью рассказывали мне о том, что они переживали на Украинском фронте, когда боролись под высшим командованием Антонова-Овсеенко против нашествия контрреволюционных немецко-австро-венгерских армий и отрядов Украинской Центральной рады, которая действовала на Украине против тружеников, творивших революцию. При этом радость их иногда соединялась с чувством счастливого удовлетворения и сознания, что они, труженики села и города, поняли наконец, что освободить себя они могут только силою оружия и сами своею твердостью воли и смелостью непосредственных действий в осуществлении своих целей. Но когда речь переходила на их настоящее положение, на положение уважаемого ими всеми их командира Петренко, радость на их лицах быстро исчезала. Некоторые, понуриив головы, замолкали. Другие с горечью рассказывали мне, что к их отряду власти начали придирааться от самой станции Тихорецкая. Придирки эти выражались в саботаже своевременной отправки эшелона, в несодействии закупке провианта, в несмелых, но понятных намеках на то, что отряды, вышедшие из Украины, не могут двигаться вооруженными по России: они должны разоружиться, объявив себя беженцами, и т. д.

– Для нашего отряда, – говорили они, – хотя он и состоит в большинстве из украинцев, крестьян и рабочих, а не русских, такое отношение революционных властей было крайне обидным. Ибо мы прежде всего – революционные труженики. Мы взяли в руки оружие и боремся за революционные цели тружеников. И нам казалось, что мы имели право ехать по революционной стране, не складывая оружия, тем более что наш командир Петренко ходатайствовал перед высшим командованием о том, чтобы последнее разрешило нам перебраться в Сибирь против генералов Дутова-Колчака, и высшее командование якобы не против этого.

– А правда ли, что ваш командир – житель из Сибири? – спросил я у бойцов.

– Родственники его переселились якобы в Сибирь, на поселение. Сам Петренко и его отец живут на Украине. Многие из нас его знают, – ответили мне мои собеседники.

– А что грозит ему? – спросил я их.

– Нам объясняют, что он будет освобожден. Но мы этому не верим и думаем, что, как только получим на руки оружие, мы употребим все свои силы, чтобы освободить его.

Произнесший эти слова повернулся к своим товарищам как бы за подтверждением, и его слова были подхвачены хором:

– Да, мы не остановимся ни перед чем, когда мы будем вооружены. Наш Петренко должен быть с нами. Это наша гордость. С ним мы пойдем на самый опасный фронт против контрреволюции.

– Вы, – говорили мне мои собеседники, – были с нами на Украине, кажется на станции Царевоконстантиновке. Вы видели, что все чисто большевистские отряды почти первые бежали из этого боеучастка, боясь быть отрезанными немецкими отрядами. А мы оставались на фронте. Наш Петренко сказал нам, что немцы отрезали под Бердянском анархический

отряд матроса Мокроусова. Мы старались втянуть в дело все проходившие мимо нас отряды, чтобы помочь Мокроусову выбраться из кольца. И хотя нам не удалось это выполнить, мы оставались на фронте до последней минуты, пока можно было. За это время мы точно выяснили, что отряд Мокроусова прорваться в направлении, куда отступают все красногвардейские отряды, не может, поэтому грузится в Бердянском порту на баржи и будет к Таганрогу отступать по морю. Когда наш Петренко получил точные сведения, что Мокроусов уже погрузился и благополучно отчалил из Бердянского порта, тогда только мы, петренковцы, снялись с фронта, на котором несколько дней оставались одни-одинехоньки, и направились по направлению к Таганрогу.

– Вы, товарищ комиссар, – обращались мои собеседники ко мне, зная меня по предъявленному мною, еще на Украине, на станции Царевоконстантиновке, документу главным комиссаром временного Комитета защиты революции, – должны знать, чем занимались, в то время, когда мы оставались на фронте, такие хваленые большевистские, вперемежку с анархистами, отряды, как отряд матроса Полупанова. Он был далеко от фронта, в Мариуполе, и воевал с инвалидами-фронтовиками, которых вся вина была в том, что они выявили свое недовольство революционной властью, отказавшейся заботиться об этих калеках – жертвах преступного самодержавия. И вот этот, сомнительный в смысле революционной чистоты красногвардейский отряд находится на почетном месте у революционной власти. С ним так подло власти не поступят, как поступили с беспартийным революционным героем Петренко и его отрядом!

Этот выкрик рядового бойца из отряда Петренко был стоном души всего отряда. Тяжело было дальше говорить с этими безымянными носителями идеи самодеятельности, которая зашевелилась в проснувшейся от векового рабства широкой массе трудящихся села и города. За ним, за этим стоном, скрывалось слишком много гнева массы против всех, кто не может, или может, но не хочет ее понять.

К тому же бойцы, услышав сигнал к обеду, начали прощаться и спешно уходить на обед. Лишь один из них положил мне на плечо руку и на ходу подавленным голосом, волнуясь, сказал мне:

– Не говорите ни с кем на стороне о том, что вы услышали от нас. Время опасное, нас преждевременно могут, как кур, перестрелять...

– Я, конечно, нигде об этом не заикнусь, – ответил я наивному красногвардейцу. – Но советую вам всем быть осторожными. И если вы думаете силою освободить своего командира из тюрьмы, вы должны точно выяснить, что именно ему грозит, а затем уже, когда узнаете, что обезумевшие власти хотят над ним потешиться, думаю, расстрелять, то вы должны выяснить, как ваш командир охраняется и какие шансы могут быть у вас на то, чтобы его сейчас же вывезти из Царицына. Ибо ваши действия на этом пути могут принести слишком большой вред и самому Петренко, и вам в особенности, если они окажутся несвоевременными и недостаточно решительными.

– Спасибо за совет, – сказал мне на все это красноармеец Б., – но я должен вам сказать, что мы и не думаем о том, чтобы, когда освободим Петренко, вывезти его сейчас же из Царицына. Мы думаем, что мы теперь не остановимся перед тем, чтобы весь город занять; и мы это сделаем, как только наш боевой командир Петренко будет нами освобожден. Мы знаем теперь настроение в царицынском гарнизоне, знаем его и среди тех красноармейцев, с которыми мы находимся. Мы уверены, что эти красноармейские части, среди которых мы находимся, мы разоружим в тот момент, когда выделенный из нас отряд пойдет за Петренко. Это все уже обсуждено и рассчитано.

– Я не верю в успех вашего дела, – заметил я своему собеседнику. – Я убежден, что вы провалитесь на этом деле уже по одному тому, что вы ставите задачей занятие города, вместо того чтобы отважно налететь на тюрьму, где Петренко сидит (об этом вы должны точно узнать), и, забрав Петренко, сейчас же переправить его с пятью-десятью товарищами-красногвардейцами (наиболее надежными) через реку Волгу или в другие отдаленные от Царицына места... Этого от вас требует и долг по отношению к Петренко, которого вы все

поддерживали в его отказе сложить оружие перед царицынскими властями, и по отношению к революции, знамя которой вы не опускаете, а думаете с ним идти еще смелее вперед...

Красногвардеец несколько смутился моим замечанием и растерянно глянул на меня, а затем, тесно прижав мое плечо к своей груди, сказал:

– Я с вами, товарищ, очень откровенен, и это потому, что я в вас уверовал... Вы помните меня? Я на станции Царевоконстантиновка (еще на Украине) держал вашу голову на своих коленях, когда вы отдыхали... Правда, тогда я заботился о вас не по своему желанию; мне это было поручено нашим взводным, который видел ваши документы (когда их смотрел сам Петренко); он знал, кто вы, и он приказывал всем красногвардейцам того вагона, в котором вы поместились, чтобы вам место было и чтобы все держали себя с вами, как подобает революционным бойцам. Так я говорю вам, товарищ, я в вас уверовал и откровенен с вами. Будьте же и вы таким, скажите мне чистосердечно: вы оправдываете царицынские власти в том, что они повели переговоры с нами, а в конце, когда наш отряд должен был обратиться ко всем отрядам и населению Царицына и округа с пояснением, что столкновение между ним и революционной властью произошло по недоразумению, что контрреволюционеры не могут питать надежды на то, чтобы, пользуясь этим столкновением, развивать свое черное дело против революции и т. д., – они, эти непрошенные властители, провокаторским образом схватили Петренко и, при помощи поддельных его подписей, повлияли на отряд, так что он допустил к себе их силы и дал им разоружить себя?.. Вы оправдываете это подлое дело власти?.. Скажите мне чистосердечно... Меня просили мои товарищи спросить вас об этом.

На все это я ответил:

– Я не только против черного дела по отношению Петренко и всего вашего отряда со стороны царицынских властей, я против самое власти также... Но задуманное вашим отрядом дело – слишком ответственное дело. Белогвардейцы по всему фронту гонят красные войска Кубано-Черноморской Советской Республики. Из под Ростова-на-Дону красные войска отступают тоже. Насколько верно (власти это скрывают), на Царицынском боеучастке фронта революции тоже тревожное состояние. И если ваш отряд совершит нападение на Царицынский революционный комитет, на штаб фронта, он, очевидно, всех там перебьет, не рассуждая о том, удержит ли он Царицын в своих руках и не поколеблет ли этим своим действием фронта против казаков, который и без того шаток. Революционеры должны все это учесть. В противном случае все неудачи на фронте против казаков будут связаны с вашим действием против царицынских революционных властей. Все труженики вас обвиняют в контрреволюционных намерениях и строго осудят... Это даст право властям при вашей неудаче перестрелять вас всех без всякого суда или опроса вас о том, что вас побудило на это смелое и открытое повторное действие против нее в столь тяжелый момент для фронта революции против контрреволюции... Поэтому мое искреннее и, как вы выразились, чистосердечное мнение может быть в данном случае только одно: если у вас в отряде есть дельные товарищи, которые полны отваги и сил, чтобы вырвать из тюрьмы Петренко или умереть вместе с ним (ибо если дело будет проиграно, то ни с этими людьми, ни с самим Петренко революционные власти возиться не будут, положение дел на фронте заставит их раз и навсегда освободиться от Петренко и от людей, покушающихся его освободить...), то я советовал бы вам всем действовать только через этих готовых на все товарищей и в направлении только освобождения и увоза из Царицына Петренко. В этом направлении на вашей стороне много шансов, при условии, повторяю, если действия ваших людей будут своевременны и решительны...

– Гм... гм... А нам казалось дело освобождения Петренко, занятие города Царицына, разгон из него всех властей, которые так много наделали нам подлостей и против которых почти все население города и окрестностей, делом совсем легким, – медленно, уставшим голосом заметил мой наивный товарищ красногвардеец и тут же добавил: – Обо всем, что я сейчас говорил с вами и что вы ответили мне, я сегодня же или завтра, не позже, поговорю со своими близкими, и тогда мы подойдем к делу более решительно... Приходите завтра к трем

часам на вокзал. Я вас буду ожидать с двумя хорошими своими товарищами. Мы еще кое о чем посоветуемся с вами. Вы только не говорите, пожалуйста, об этом ни с кем на стороне...

Это были последние его слова о «деле». Он стиснул мне руку своей крепкой крестьянской мозолистой рукой и, тяжело вздохнув, с тоскливой улыбкой повернулся и ушел...

Я долго смотрел ему вслед, ожидая, что он оглянется. Но вспомнив, что *украинские крестьяне всегда и везде одинаковы в своей прямоте*, я пошел, также не оглядываясь, в своём направлении.

* * *

По дороге я продумал все слышанное из уст красногвардейца и ощущал сильную боль на сердце за все, все!.. И в первую очередь за то, что мы, анархисты, так бесшабашны в смысле организованности... Это делает нас такими беспомощными в смысле влияния на ход революционных событий в стране, что становится стыдно. Стыдно мне было не только перед широкими трудовыми революционными массами, которые в настоящей революции видели средство к их подлинному освобождению от экономического и политического рабства, но и перед самим собою. Я вполне отчетливо сознавал, что в настоящей революции можно будет лишь создать *подлинные средства* для такого освобождения тружеников. И нужно было питаться глубокой верой и порожденными ею надеждами, что анархисты опомнятся и проявят себя в этой области так, как этого требует время, чтобы преодолеть в себе ощущение этой боли.

Ведь будь мы способны организованно войти в ряды трудящихся и оказывать им в их прямых действиях в тылу и на фронтах за революцию надлежащую организованную помощь, то разве воцарившаяся за счет этих борющихся масс большевистско-левоэсеровская власть позволила бы себе заниматься, совершенно безнаказанно такими черными делами, как присвоение себе права по своему усмотрению одних революционеров разогнать, другим запретить иметь свое мнение о ней, третьих под всевозможными предлогами обезоружить, расстрелять? Никогда, ни за что! При всей силе соблазненных ею латышских, китайских и мадьярских штыков, эта власть не осмелилась бы так подличать по отношению к революции, питающей свое широкое русло всеми революционными идеями, всеми на них воспитанными и ими созданными трудовыми силами...

Размышляя об этом, я вдруг почувствовал острую тоску по Гуляйполю, по его трудовому революционному району, который теперь был занят настоящими палачами революции на Украине: немецко-австро-венгерским юнкерством и бандами Украинской Центральной рады. Я мысленно, по тем отрывочным сведениям, которые получал из Гуляйпольского района, будучи еще в Таганроге, представлял себе дикий разгул этих палачей. Все это еще сильнее помогало мне чувствовать справедливое возмущение красногвардейцев-петренковцев деяниями царицынских революционных властей против как самого Петренко, так и его боевого революционного отряда.

Однако планы этого отряда освободить Петренко, занять город, разогнать из него всех представителей власти, что, по моему мнению, могло быть успешно осуществлено лишь при поголовном уничтожении сопротивлявшихся, эти планы петренковского отряда меня тревожили. Зная бойцов этого отряда, видя их и беседуя с ними, я ничуть не сомневался в том, что они, если решат действовать, будут действовать, как львы, с убеждением, что они борются за цель, за которую не жаль и умереть. Но цель эта, по моему мнению, должна была создать для них такие условия, из которых им было бы не выбраться: они все погибнут с запоздалым резким осуждением самих себя.

Поэтому я, учитывая все те опасности, какие могли обрушиться на меня за мое посещение петренковцев, решил все же во что бы то ни стало видеться с ними на другой день в условленные часы и еще раз подчеркнуть им, чтобы они поспешили лишь освободить из тюрьмы Петренко и увезти его подальше от Царицына, не думая о бессмысленном

занятии всего города и о сведении счетов с его правителями...

На такое решительное отговаривание петренковцев от их планов занять город и посчитаться с его правителями – помимо того, что в этих планах петренковцев я видел необузданную жажду мести, бессильную оправдать себя, – меня толкало еще и то обстоятельство, что я в этот же день наткнулся на Ворошилова, в то время создававшего 10-ю армию. Он выступал перед массой портовых рабочих, освещая им положение Царицынского фронта революции против контрреволюции. По речи, чисто деловой, но сильной речи Ворошилова, я понял, что на фронте революции неудачи, что его нужно поддержать свежими силами. Я тут же выступил после речи Ворошилова и осветил этим труженикам то, что творят немецкие юнкера и отряды Украинской Центральной рады над революционными украинскими тружениками. Я тоже призывал их оказать помощь вооруженному фронту революции против казаков, которые своей ближайшей задачей ставили занятие Царицына, как центра группирования революционных сил.

Помнится, Ворошилов тогда имел большой успех. Рабочие вынесли резолюцию, что они пойдут на фронт...

Итак, нарисованное Ворошиловым на митинге портовых рабочих тяжелое положение на Царицынском фронте усилило во мне решение во что бы то ни стало отговорить красногвардейцев-петренковцев от мысли нападения на революционный комитет и Совет рабочих, крестьянских, солдатских и казачьих депутатов Царицына с целью овладения городом и разгона, как петренковцы выражались, засевавших в нем правителей. Поэтому на другой день в указанный час я был на месте. И когда красногвардейцы-петренковцы встретились со мной (их было на сей раз пять человек), я без стеснения заявил им, что я серьезнейшим образом обдумал их планы и нашел их никуда не годными, а последствия их выступления вредными для нашего общего революционного дела.

Я объяснил им положение на Царицынском фронте, пояснил, какой удар этому положению они нанесут своим выступлением в городе, и упорно настаивал при этом, чтобы они и сами высказались по этому вопросу.

В конце концов петренковцы сказали мне:

– Мы долго обдумывали то, о чем вы вчера говорили с Алексеем, и считаем, что вы правы. Мы решили, что нельзя нам делать то, что и не под силу, и может оказаться непоправимо вредным для всех нас, для нашего общего дела и революции... На этом мы определенно остановились... Но мы не покидаем мысли о нашем командире, Петренко. Мы хотим его освободить. У нас есть люди, которые рискнут на все, и они к этому готовятся. Беда лишь в одном, что нам до сих пор не выдают на руки оружия. Мы до сих пор болтаемся среди вооруженных без оружия, хотя представляем часть вооруженных.

На мой вопрос, ходите ли вы к Петренко на свидание, я получил ответ: *«Этого нельзя делать: нам говорят, что над ним скоро будет формальный суд, после чего он будет освобожден... Мы этому не верим. Поэтому мы выделяем людей, чтобы освободить его силой»*.

– Вот об этом, на мой взгляд, вы должны позаботиться: освободить Петренко от казни – ваш прямой долг, и чем скорее вы его исполните, тем лучше будет для Петренко, да и вы будете спокойны за его жизнь.

На освобождении Петренко силою из тюрьмы я упорно настаивал. На мой взгляд, это могли сделать 8-10 человек даже без винтовок, а с револьверами и бомбами. А так как у петренковцев охотников на это дело было, по их уверениям, более двухсот человек, то дело обстояло еще лучше. Из этого количества можно было выбрать 10–25 человек самых дельных, и они бы все сделали... Это я советовал петренковцам. На этом я настаивал, так как считал сопротивление Петренко и петренковцев зазнавшимся революционным властям актом справедливости, которым они отстаивали свою революционную честь. Наоборот, иезуитские переговоры этих властей с Петренко и затем предательскую западню для него, с помощью которой они уверили Петренко, что конфликт между ними совершенно ликвидируется и что он через день-два сможет свободно уехать на фронт, а затем схватили

его и посадили в тюрьму, готовя для него смертный приговор, я считал хамской наглостью, свойственной именно подлым иезуитам. А ведь царицынские власти были революционерами в то время? И это возмущало меня; это побуждало меня советовать петренковцам взять своего командира силою оружия из-под стражи этих властителей, хотя бы это стоило больших жертв со стороны тюремных палачей.

В этом акте я усматривал лучшую и показательнейшую насмешку над властями, думающими тюремной стеной и решетками сбить с пути чувство долга и справедливости. Освобождение Петренко самими петренковцами убедило бы воочию царицынские революционные власти, что хотя по глупости, поддерживаемой подкупленными штыками, можно затеять все, что угодно, но сила долга и справедливости тех, против кого власти что-то обдумывают, могут всегда предотвратить то, что властями затевается.

Я слышал среди «революционных» кругов, отступивших из Украины вместе с центральной украинской Советской властью или под ее покровительством до Царицына и днем где-то вылеживавшихся, а с 4 часов пополудни появлявшихся разодетыми и подпудренными в царицынском парке среди публики, прогуливавшейся вокруг клумб, – слышал я в этих кругах разговоры, о том, что Петренко давно расстреляли или если еще не расстреляли, то не сегодня завтра расстреляют...

Несколько раз я был у председателя революционного комитета Минина. Пытался заговаривать о Петренко с ним и его приближенными. Но в революционном комитете я ни разу не слышал таких авторитетных сведений о Петренко, как в «революционных» кругах царицынского парка. В революционном комитете я слышал всегда один и тот же монотонный ответ: «Петренко предается трибуналу. Какие будут решения трибунала, сейчас трудно сказать»...

В парке же от уставших на Украине в «тяжелой борьбе» (скорее всего с дамами, и тоже по паркам) «революционных» кругов, отдохавших теперь в гостеприимном для них Царицыне, я всякий раз слышал о Петренко хотя и меняющиеся, но зато более утвердительные сведения. Это говорило мне, что отдохавшие «революционные» круги гораздо лучше осведомлены о деле Петренко, – обстоятельство, которое увеличивало их престиж и давало им, как всем нахалам, право быть более смелыми в своих рассказах как о самом Петренко, так и о том, что над ним уже свершилось или если еще не свершилось, то *не сегодня завтра свершится*.

Все это меня, правда, только злило, но не говорило мне ничего определенного, на основании чего можно было бы дать петренковцам материал, который заставил бы их поспешить забрать Петренко из-под стражи.

Я советовал им спешить с этим делом, и они приняли мой совет во внимание. Они спешили. Но... власти их опередили. Петренковцы, разбитые по группам и влитые в другие, чуждые по духу красноармейские части, были высланы на фронт... а Петренко был убит в подвале чеки!.. И, характерно, убит он был не как красный командир, не подчинившийся красным правителям, по глупости своей требовавшим от него сложения оружия, а как злостный контрреволюционер.

Для меня этот позорный акт революционной власти был настолько злостным по отношению и к самой революции, и к чести носителей ее идей, что я не находил ему никакого оправдания и на минуту усомнился в том, что эта власть преследует вообще какие бы то ни было революционные цели...

Этот позорный акт царицынской революционной власти, акт, клеймивший Петренко злостным контрреволюционером, запечатлелся в моей памяти с такой же силой, как акт агентов немецкого юнкерства и Украинской Центральной рады в Гуляйполе в апреле месяце (см. первый том моих записок), хотя эти акты позора, по существу, несравнимы. Но оба они всегда терзают мою душу, напоминая мне о том, что они *были* и что имеется почва для их повторения.

Глава VIII

Встреча с людьми из «революционных» кругов

Часть коммунаров, из-за встречи с которыми я отстал от Б. Веретельника (с ним я должен был посетить Москву, Петроград и Кронштадт), прибыли недели полторы тому назад в Царицын и, не выгружаясь из вагонов, переезжали с одного вокзала на другой: постоят день-два в одном тупике, а затем их перегоняют в другой. Они, мои близкие, дорогие, за которыми я гнался из Таганрога и след которых потерял в Ростове-на-Дону, они теперь в Царицыне.

Кто-то из «революционных» кругов, отдыхающих в Царицыне, видел кого-то, кто сказал, что гуляйпольские коммунары тоже здесь.

Бегаю, словно угорелый, ищу этого «кого-то»...

С трудом напал наконец на след – не своих коммунаров, нет! – на след этого «кого-то». В парке среди прогуливающихся «революционных» кругов, отдыхающих в Царицыне, я нашел кой-каких осведомленных лиц. Я подробно расспросил их о том, не знают ли они, кто из них видел гуляйпольских коммунаров здесь и где именно?

Мне ответили: гуляйпольских коммунаров видели здесь люди из «революционных» кругов. Подробности можно узнать лишь завтра на базаре-толкучке. И тут же указали мне, где я могу найти этот базар.

Поблагодарив любезных представителей «революционных» кругов, я пошел к себе в отель. По дороге я подумал: лучше всего сейчас же разыскать этот базар, чтобы утром идти туда прямо, не затрудняя ни себя, ни милиционеров расспросами.

Пошел и нашел...

В отеле я встретился с александровскими людьми. Они принадлежали тоже к «революционным» кругам. Из них женщины торговали своим телом, а мужчины получали от Царицынского Совета для себя и для этих женщин бесплатные номера в отеле и занимались какой-то другой профессией – какой, за один вечер трудно было определить. Среди этих представителей «революционных» кругов нашлось много таких, которые меня узнали. Они видели меня в январские дни в городе Александровске в революционном комитете на могиле видного большевистского работника, убитого в те дни из пулемета в Александровском революционном комитете. Эти люди напомнили мне даже некоторые подробности, например после кого я на этой могиле выступал (мы, анархисты, как члены революционного комитета, принимали участие в похоронах этого молодого, но славного большевистского работника, нашего сотоварища в Александровском революционном комитете). Такие данные этих людей обо мне привели меня к мысли, что я встретился действительно с людьми революционных кругов, несколько попустившимися вследствие тяжелых условий. И я, не задумываясь, набросился на них с расспросами о том, не видели ли они здесь кого-либо из гуляйпольских коммунаров. Как же, видели и даже ели у них вареники, получил я в ответ.

И эти люди рассказали мне, что на берегу реки Волги, на одном из тупиков линии железной дороги, стоят эшелоны с беженцами.

– Мы там были и наткнулись на гуляйпольских коммунаров, которые варили на треножниках, в больших чугунных казанках, вареники с сыром. Эти вареники нас заинтересовали, и мы обступили костер, где они варились, а потом попросили попробовать вареников, нам их и дали.

– О, чудные вареники! – кричал один.

– Я хотел их все закупить для наших людей, так не продали, сказали: мы не продаем, – кричал другой.

Это повествование о людях, с которыми я вместе рос, долгие годы жил под гнетом самодержавия, от которых затем был оторван тюрьмой, каторгой и с которыми снова встретился в дни революции на деле организации сельскохозяйственных коммун, это повествование сорвало меня с места. Я упросил одного из рассказчиков сесть со мной на извозчика и поехать к тому месту, где он ел вареники у гуляйпольских коммунаров. Упросил я его с трудом. По общему мнению, именно он был наиболее свободен в 12-м часу ночи.

Остальные были чем-то особо важным заняты.

Вышли из отеля, прошли саженой с тридцать, взяли извозчика, поехали к пароходным пристаням. У места подъехали к одному эшелону, соскочили, разбудили в одном из вагонов спавших беженцев. Спросили, откуда? Оказались не те, кого ищем. И так к другому, третьему, четвертому эшелонам. Всюду нас бранили, но мой проводник знал все дневные и ночные порядки Царицына: он по-чиновничьи покрикивал на ругавших нас, разбуженных нами беженцев, и те умолкали. В четвертом эшелоне нам сказали, что гуляйпольские коммунары вчера переведены куда-то на другую линию. Но мы дальше не могли уже их разыскивать. Человек из революционных кругов предупредил меня, что он должен спешить обратно в отель, он должен подготовиться к базару. Поэтому мы возвратились в отель.

По дороге в отель я уговорился со своим проводником, чтоб вместе с ним пройтись на базар, и уже не заходил к людям из «революционных» кругов – людям, имевшим право всю ночь жечь свет в номерах, орать как кому вздумается, и прочее. Я зашел в свой номер, заперся и лег приуснуть.

* * *

Наутро я поднялся, сбегал в столовую позавтракать и заполнил пропущенную часть дневника. Затем поднялся к людям из «революционных» кругов, узнал, когда мой ночной проводник пойдет на базар, вышел во двор, сел на скамейку и начал поджидать его. А когда он вышел с какими-то пачками под руками, мы пошли на базар.

Базар наполовину уже собрался. Мой проводник быстро присел возле одного торговца, по виду тоже из «революционных» кругов, но который, как более практичный, успел уже откупить себе на базаре постоянное место и раскладывал на нем всевозможные товары. Товары были различные: здесь лежали мужские и дамские шляпы, часы, ботинки, портмоне, очки и пенсне, всевозможные – правда, в небольшом количестве – парфюмерные товары.

Мой проводник быстро развернул свои пачки, вынул из них свои товары. Они заключались в мужских и дамских кожаных и парусиновых поясах, подтяжках, различного качества и величины цепочках и браслетах. Он обвешал себя ими и сказал мне:

– Пока до свидания. Мне нужно поторговать. А вы поищите здесь людей, которые, вероятно, знают, где ваши гуляйпольцы.

Я не удержался и спросил своего проводника:

– Да вы что, и в Александровске торговали этими вещами?

– Что вы, что вы! В Александровске мы работали в продовольственной управе... Эти товары мы приобрели в Ростове во время отступления. Мы как знали: на них здесь большой спрос, мы их сбываем, – ответил мне, не краснея и не смеясь, мой проводник.

Я смутился. Бывший мой проводник, сейчас торговец «красивым трудом» приобретенными, пусть даже у грабителей-буржуа, товарами, заметил мое смущение и поспешил меня подбодрить следующими словами:

– Вы, товарищ Махно, смущаетесь, что видите меня торговцем... Теперь такое время. Все наши, отступившие от контрреволюции, этим занимаются...

– Тем позорнее для них, – сказал я ему.

– О, что с вами, товарищ Махно, – говорит, – вы не хотите подумать, как жить. Вы думаете, легко здесь жить? Э-э-э, это не дома. Если бы мы здесь не трудились, мы были бы голодны и оборваны уже, как жулики. А впрочем, поговорим об этом после... Сейчас некогда, нужно подработать. До свидания! Ищите здесь знающих, где ваши коммунисты, – заключил мой бывший проводник и исчез в базарной толпе.

«Вот так революционные люди», – думал я в ту минуту. Но думы мои быстро сменились новыми впечатлениями. Мне на глаза начали попадаться десятки людей из «революционных» кругов с разнообразнейшими товарами на руках и на плечах. Всех их я видел раньше в царицынском парке обсуждавшими ежедневно вопросы о революции, о ее успехах и поражениях на многочисленных фронтах борьбы против вооруженной

контрреволюции...

Среди встреченных мною на этом базаре новых торговцев из «революционных» кругов я видел многих, которых до Царицына встречал среди большевиков, социалистов и анархистов. Это причиняло мне глубокую боль, мне, веровавшему в революцию как в единственное средство освободить трудящихся от власти капитала и государства, мне, до фанатизма зараженному верой, что в момент революции все угнетенные примут посильное участие в той или иной области и этим самым помогут ей проявить себя в подлинном трудовом народном духе и творчески завершиться без политических уклонов, без смертельных поражений... И я страдал болью этого фанатика революционера-анархиста. Но в то же время я был счастлив этой встрече с торговцами из «революционных» кругов, отступавших из Украины и нашедших себе отдых с правом торговли всем и вся в гостеприимном Царицыне. Я был счастлив потому, что не видел среди них ни одного из своих братьев по классу: крестьян.

Эти люди в большинстве своем были ремесленники, мелкие лавочники, еврей-торговцы, всякие полубуржуа, а в меньшинстве – оторвавшиеся от своего прямого дела в революции рабочие или по крайней мере бывшие рабочие. Ни одного крестьянина среди этих людей из «революционных» кругов не было. И это действительно поддерживало меня морально. Это делало счастливым меня, верившего в крестьян и надеявшегося с ними еще и еще раз выпрямиться во весь рост в практическом деле революции и сразиться с врагами ее.

Среди всех этих людей я встретил наконец человека, который видел моих «коммунистов» (как он выразился) закупавшими на этом базаре продукты. Этот человек был тот самый, который привел меня на базар и час тому назад убежал от меня. Теперь со стыдом, изменившим его лицо, он свернул свои товары и провел меня в одну из улиц, идя по которой и никуда не сворачивая я наткнулся на линию железной дороги, пролегающей над рекой Волгой. Здесь стояли вагоны, в которых помещались гуляйпольские коммунары. Еще не дойдя до места, я встретился с одним из коммунаров, Василевским, который и довел меня к месту.

Глава IX

Встреча с коммунарами, размещение их на хуторе Ольшанское и мой отъезд от них

Никто из коммунаров не думал встретить меня в России. Все они знали, что сидеть без дела я не буду нигде. И все предполагали, что я вернулся уже на Украину, в свой родной район, и если не попался немцам, то что-либо готовлю для них ужасное, как для палачей революции. Лишь моя подруга, милая Настенька – она была накануне родов – и слышать не хотела о том, что я не постараюсь встретиться с нею перед родами. Она ожидала меня каждый день. Иногда она тосковала о том, что ее ожидания, по рассказам коммунаров, могут оказаться напрасными. Теперь ее ожидания сбылись. Теперь, оставив Василевского далеко позади себя, натянув шляпу и понурив голову, я подходил к вагонам, в которых жили коммунары, никем не замечаемый. И тогда я подошел умышленно не к тому вагону, в котором помещалась моя дорогая, милая подруга, и сказал, обращаясь к коммунарам: «Как же вы, друзья, здесь поживаете?» – то все друзья, мужчины и женщины, и их подростки-дети, бросились ко мне, хватая меня в свои искренние, какие могут иметь только крестьяне, объятия и целовали меня. В это время из другого вагона выскочила моя подруга и за нею все другие коммунары, и радости всех нас не было предела...

Начали обмениваться новостями, какие кой-кто привез из Гуляйполя, из окружающих коммун, а также тем новым, что кой-кто пережил уже на пути отступления.

Первое, что я услышал от своих дорогих и близких, была новость (для меня) об их отъезде из коммуны номер 1 (Класенской экономии). Коммуна эта была расположена в 8 верстах от Гуляйполя. В дни переворота в Гуляйполе заговорщики захватили при помощи европейской роты дальнобойные орудия и, как раз в то время, когда коммунары грузились на

подводы, чтобы вырваться из коммуны, открыли по коммуне ураганный артиллерийский огонь. Все думали, что к коммуне подошли немцы, и потому бросали все, что имели из одежды, и, под взрывами снарядов, вытаскивали своих детишек, никогда не слыжавших такой бешеной артиллерийской канонады и кричавших, заглушая оханья, стоны и крики своих матерей...

Теперь все – и матери, и дети – смеялись, рассказывая мне об этом, но тогда они не сознавали, кто что делал, куда, кто и на что бросался...

Далее мои близкие рассказывали мне, как они отступали, с какими красногвардейскими отрядами, как панически покидали Ростов (они, оказывается, отступали в тот же день, что и я, из Ростова), где и как скитались после Ростова. Все их рассказы носили потрясающий характер.

– В дороге много наших друзей, – говорила за всех коммунарков одна женщина, – осталось. Не могли переносить того ужаса, какой выпадал на нашу долю в каждом городе при отступлении от немцев. Но мы, вот эти несколько семейств, решили держаться до тех пор, пока не узнали бы, где вы находитесь, Нестор Иванович, а потом поплелись бы все до вас, чтобы вместе с вами идти на свою батьковщину – отвоевывать ее широкие степи и богатые зеленые нивы.

Эти слова молодой коммунарки, окруженной тремя маленькими детками, меня сильно тронули. Но я старался никому не показывать этого и ограничился на сей раз уверением, что ни один из нас не должен и не будет здесь болтаться без дела: все пойдем на вооруженный фронт революции, чтобы спасти ее, ибо только через революцию отвоеваем мы те широкие украинские степи и богатые зеленые нивы, на которых теперь торжествует пьяное немецко-австро-венгерское юнкерство со своими подлыми лакеями – отрядами Центральной рады, и о которых только что говорила Мелаша.

Далее я узнал от коммунарков, что и они попользовались кое-чем из награбленного в Ростове. Красногвардейцы большевистского отряда под командой матроса Степанова снабдили их соломенными шляпами.

Говоря мне об этом, коммунары знали, с какой болью я буду выслушивать их. Они знали, что я наброшусь на всех них, буду много говорить им о том, как все это неревOLUTIONно; о том, как вредно для чувств революционера, когда он сознает себя таким; о том, что, взяв себе чуть не в разгроме магазинов приобретенную шляпу, каждый из них показывает погромщикам, что он то же сделал бы, что он вполне с ними солидарен на этом пути. Но они не хотели ничего скрывать от меня. Они были честны с самими собою и хотели быть такими же честными со мною, которого привыкли видеть всюду первым *среди равных*. Они дорожили мною, они ценили не на словах, а на деле мое мнение именно потому, что я был для них равным. И они предпочли выслушать мои резкие нападки на всех, кто сознательно совершил недостойное революционера; они предпочли переболеть из-за этого душою вместе со мною так же как и я... Они рассказали мне все... А после среди них нашлись такие, что поломали эти соломенные шляпы и выбросили из вагонов.

Теперь коммунары посмелели. Я предложил им покинуть вагоны и переселиться в квартиры где-либо близ города. Согласились. Мы – я, товарищи Александр Лепетченко и Гр. Василевский – ушли на весь день искать квартиры. Брат мой, Григорий Махно, пошел разузнавать, как дороги в Царицыне ломовые извозчики, чтобы можно было брать первого попавшегося на случай переезда из вагонов в село...

Остальные коммунары и коммунарки оживленно занялись: одни – хозяйственными работами, другие – связыванием вещей...

Мы нашли на хуторе Ольшанское, в 4 верстах от Царицына, ряд квартир по очень дешевой цене. Еще сутки, и мы все переехали на хутор Ольшанское...

Как только все мы устроились в Ольшанском, я поставил своих друзей в известность о всем том, что мы обговаривали с рядом товарищей на нашей семейной Таганрогской конференции в конце апреля и к чему пришли. Друзья узнали, какая на мне лежит обязанность по отношению Гуляйпольского района. Они поняли, что я не сегодня завтра

заявлю им о своем отъезде от них, и сперва впали в уныние, а потом заявили, что они все – и мужчины, и женщины, и дети – едут со мною. Я резко запротестовал против их поездки со мною, исходя из того, что они все почти семейные и что, коль они так дружно держатся коммунальных заветов, то им пока что следует оставаться здесь.

Моя подруга долго крепилась, все не поддавалась тяжелому, перед родами в особенности, чувству одиночества и теперь плакала...

Все эти разговоры привели нас к ряду серьезных заседаний, на которых мы пришли единогласно к выводу, что сидеть без дела в ответственное время нельзя, что все должны идти на фронт. Поэтому товарищи-коммунары должны устроить свои семьи как следует, оставив одного-двух мужчин возле них для связи с фронтом и для помощи женщинам по хозяйству, а сами идти добровольно на фронт здесь же, на царицынском участке, не ожидая того времени, когда фронт не выдержит ударов казачьей контрреволюции и начнет безостановочно отступать.

Мысль эта отстаивалась мною, ибо я глубоко верил, что если нам, гуляйпольцам, удастся организовать восстание на Украине против контрреволюции и если оно разовьется, то нам легко будет при содействии красного командования перевести всех своих людей в Гуляйполе.

Товарищи коммунары и коммунарки с этим согласились. Мужчины стали готовиться в добровольцы на царицынский боеучасток фронта революции. А я подготовлял свою подругу к тому, чтобы она мужественно на время рассталась со мною, живя вместе с коммунарами, как жила до сих пор, всегда помня, что я оставляю ее во имя великого дела украинских тружеников, которые задыхаются в петле немецко-австро-венгерской реакции.

Подруга соглашалась со всеми моими доводами о том, что я не могу празднично сидеть возле нее, я должен быть к июлю в Гуляйполе во что бы то ни стало; но чувства брали перевес над разумом, и она, словно дитя, рыдала. Все это создавало во мне удручающее состояние духа. Все это наталкивало меня на мысль взять ее с собою, ибо вдвоем с близким, дорогим легче умирать у дела... Но такое решение она и сама считала безумием. Она уже мало ходила, больше лежала в постели...

Наконец под стоны и всхлипывания моей подруги, под плач некоторых матерей-коммунарок и всех детей и под звуки песен моих славных товарищей мужчин-коммунаров я распрощался со всеми и думал сейчас же оставить город Царицын. Но по дороге, сопровождаемый своими товарищами, я наткнулся на один из царицынских киосков, где красовалась газета под заголовком «Анархия» (то была ежедневная газета наших московских анархических организаций). Я ее сейчас же купил и в ней прочел, что в Москве организован «Союз идейной пропаганды анархизма». Декларация этого союза подтверждала этот факт.

Эта весть привела меня и моих товарищей в неопишемую радость. Правда, с идейной стороны эта газета – по-нашему – далеко уступала газете Ростово-Нахичеванской группы наших товарищей, газете «Анархист». Но одно то, что газета «Анархия» после наглого разгрома ее издателей – анархических организаций в Москве на Малой Дмитровке 12 апреля – все-таки выходит, радовало нас. И под влиянием этой опять-таки чисто крестьянской искренней радости, я вместе со своими товарищами-коммунарами вернулся обратно на хутор Ольшанское.

Среди коммунаров мы прочитали газету еще раз вслух и долго думали о том, чтобы хоть мысленно представить себе позицию анархического движения в целом по отношению к катастрофическому положению революции. И долго рассуждали и спорили о том, что анархическое движение, поскольку оно не организовано, является беспомощным поднять массы против зарвавшихся правителей из Кремля, что сейчас оно проявляет себя только в лубочной, безответственной литературе, на деле же оно – жалкое, тщедушное. Для того чтобы оно было могучим в действительности, нужно его организовать и вооружить средствами социального действия, соответствующими времени и техническому прогрессу, из которого черпают средства враги революции в своей борьбе с нею.

– Анархисты, нужно сказать правду, – говорил я тогда же своим товарищам, – проявили себя настолько бесшабашными за год революции, что надеяться на то, что мы увидим своё движение организованным и могучим в смысле влияния на развитие и плодотворные результаты революций, можно лишь, если мы сами имеем силу воли и сами будем работать для этого. А наши силы известно какие...

И больно было за свое бессилие и за силы тех, которые их имеют, но тратят не на то, на что, по-моему, нужно было бы их тратить...

Товарищи и друзья-коммунары заметили мое расстройство при беседе на эту тему и осмелились предложить мне никуда не уезжать, отдохнуть возле них. Я не понял их предложения, а усталость чувствовал большую и лег отдохнуть.

Товарищи думали, что я отложил свой отъезд, и радовались этому. Но через три часа их радость кончилась. Я, как только проснулся и увидел, что время уже позднее, что уже второй мой пароход ушел, я, вторично уже ни с кем не прощаясь, кроме своей подруги, покинул хутор Ольшанское.

У царицынских пароходных пристаней я встретил своих товарищей из анархистов других городов Украины. Они пропустили два парохода в ожидании меня и за это изрядно меня выругали.

Теперь мы взяли билеты до города Саратова и уселись на пароход.

Еще час, и мы были в дороге к краевому в то время городу Поволжья – Саратову.

Глава X

Саратов. Анархисты приезжие и саратовские. Мое бегство с рядом товарищей

Только по прибытии в город Саратов я определенно узнал, что Украинская Социалистическая Центральная рада, приведшая шестисоттысячную немецко-австро-венгерскую контрреволюционную армию под верховным руководством барона фон Эйхгорна на Украину, 29 апреля 1918 года была низвергнута украинской и русской буржуазией при прямом содействии этих ее же союзников в борьбе против революции.

По газетным сведениям (правда, уже старым для момента) я узнал, что как раз в то время, когда эта пресловутая рада была низвергнута, она заседала, принимая проекты земельной реформы, утверждавшей право (для кулаков и помещиков, нужно понимать) собственности на землю не свыше 30–40 десятин, и что с 29 апреля Центральной рады вообще не существует на Украине. Теперь там «выборный царь» – гетман Павло Скоропадский.

Все эти сведения лишний раз подчеркивали правильность моей позиции по отношению Центральной рады и ее политики. Но во всем совершившемся на Украине в пользу гетманщины виноваты были, по-моему, и большевики, и левые социалисты-революционеры. Первые – своей политикой Брестского договора с немецкой контрреволюцией. Вторые – тем, что не разорвали сразу же своего блока с правительством Ленина, не выступили из ВЦИК Советов и не повели борьбы против оккупации Украины немецкой контрреволюцией вместе с массами непосредственно на местах. Это был момент, когда украинские революционные трудовые массы шли на всякие жертвы во имя недопущения на свои земли, в свои села и города немецких и австро-венгерских контрреволюционных армий, а также разведывательных отрядов, шпииков и провокаторов Центральной рады, которые указывали этим армиям сокращенные и верные пути передвижения, доносили и помогали пороть шомполами, вешать на телеграфных столбах, загонять в тюрьмы, а затем расстреливать по ночам непокорных и революционных украинских крестьян и рабочих.

Перечитывая все, какие мне попадались, газеты и видя из них, что свершилось на Украине, я обвинял в происшедшем все политические партии: в первую очередь украинские, а затем и кремлевские, т. е. большевиков и левых социалистов-революционеров. Принимая все прошедшее близко к сердцу, как, вероятно, каждый революционер, понимавший, что

революция совершается не для привилегий партии, а для экономического равенства и социальной и духовной независимости трудящихся от их поработителей-капиталистов и их слуги, государства, роль которого выражается в организации грабежа и насилия меньшинства над большинством, я остро почувствовал в себе смесь гнева и жалости по отношению к революционерам всех направлений и за все. Затем я сейчас же взялся за письма своим друзьям-коммунарам, оставшимся в хуторе Ольшанское. В них я сообщал подробности низвержения Украинской Центральной рады и восстановления на ее место Гетмана, окруженного и поддерживаемого украинской и российской контрреволюционной нечистью, с одной стороны, и немецко-австро-венгерским юнкерством – с другой.

«Палач воссел на трон украинского самодержца, – писал я коммунарам, – и ставит своей задачей закончить недоконченную Центральной радой казнь над революцией на Украине. Время самое тяжелое для революции. Я спешу на Украину. Вы же, друзья, поспешите оставить своих жен и детей, идите сейчас же добровольцами в отряды 10-й Красной Армии. При ликвидации контрреволюции вы извне, мы, подпольщики, изнутри встретимся и братски отпразднуем торжество подлинной народной украинской революции...»

Когда я оторвался от просмотра по газетам событий на Украине, я разыскал Саратовский дом коммуны. Это дом-ночлежка для всех приезжих революционеров. В этой ночлежке я встретил анархистов из Екатеринослава: Льва Озерского и Тарасюка.

Первому из них было простительно валяться в ночлежных домах коммуны. Он из революционера-анархиста превратился в короткое время, чуть ли даже не за время отступления, в крайнего пацифиста, осуждавшего всякое насилие даже при обороне себя от нападающего.

Второй же оставался революционером анархо-синдикалистом. Над ним я подтрунил, и дошло чуть не до скандала. Правда, я не оправдываю себя целиком. Но мне казалось странным в дни жестокой схватки революции с контрреволюцией валяться в постели ночлежки до 16 часов в день, пусть даже и во время гонения на нас со стороны оподлевших в то время Ленина и Троцкого с большевистскими и левоэсеровскими чекистами. Я в своем миропонимании мыслил революционера действующим в гуще народа. Видеть товарищей валяющимися по неделям в ночлежных домах доставляло мне много боли. И я страдал, хотя и отдавал себе отчет, что не одиночки повинны в создавшемся положении. Не сами по себе одиночки повинны в том, что они, словно испуганные вороны, мечутся с места на место зачастую без всякого дела, просто потому, что-де «в таком-то городе что-то нашими делается, поеду туда»... И едет такой одиночка иногда недели и месяцы, палец о палец не ударяет и даже на месте не думает ударять во имя дела нашего движения... Нет! Не сам этот одиночка повинен в том. Виноваты форма и внутреннее содержание наших анархических организаций. Организации эти нездоровы в своем существе. Они сами приемлют и развивают неправильное понимание цели не только всего нашего движения в целом, но даже своей маленькой организации. «Нет, от подобного рода формы и внутреннего содержания анархической организации надо бежать, – убеждал я себя. – Момент требует идеологического и в особенности тактического объединения анархических сил, ибо только тактическое единство поможет нам творчески выявить среди заинтересованных в успехе революции трудовых масс практические начала анархизма, от которых, в свою очередь, почти полностью зависит рост, развитие и защита революции в том ее понимании, какое приемлемо для ее прямых творцов; а таковыми всегда являются сами трудовые массы в своих непосредственных действиях у себя на местах».

Тут же, в эти дни, я встретился с членами нашей гуляйпольской крестьянской группы анархо-коммунистов: Павлом Сокрутой, Владимиром Антоновым и Петровским. Они искали этот Дом коммуны, надеясь в нем узнать что-либо о том, что они хотели знать.

Я рассказал им о том, что мы устраивали конференцию в Таганроге и к чему на ней пришли. Все они приняли целиком постановление конференции и решили возвратиться как можно скорее на Украину, поближе к Гуляйполю, вера в революционный дух населения

которого во всех них жила, как и во мне.

Вместе с этими своими друзьями и товарищами по группе, а также с рядом других съехавшихся в Саратов анархистов при участии наших саратовских товарищей мы устроили в Саратове конференцию, пытаясь, во-первых, поддержать общими усилиями саратовскую анархическую газету «Голос анархии», которая была в это время накануне своей смерти; во-вторых, мы хотели определить более точно свое отношение к позорным актам Ленина и Троцкого, а через них и всей Советской власти на местах по отношению к нашему движению вообще и, в-третьих, мы надеялись использовать газету «Голос анархии» для коллективного призыва ко всем анархистам, отступившим под натиском контрреволюции из Украины в Россию: призыва установить единство тактики в своих анархических действиях и поспешить возвратиться на Украину, где повсеместно, общими силами, начать организацию свежих сил для организованной борьбы за революцию, за выявление в ней более конкретно ее практической цели.

В этих видах мы все, приезжие анархисты, пожелали выслушать доклад от саратовских анархистов: каково положение анархистов и их работы в Саратове и не будет ли с их стороны помехи нам в намечаемом деле?

Доклад об этом мы заслушали из уст Макса Альтенберга (он же Авенариус). В своем выступлении докладчик сперва объяснил нам, что газета «Голос анархии» вряд ли будет выходить дальше из-за отсутствия денег. На это я со своими товарищами по группе ответил тем, что дали редакции денег на один номер.

Далее докладчик объяснил нам положение анархической работы среди рабочих в городе и среди крестьян по селам. Оно было печальным. Работа саратовских анархистов в городе и по селам, облегающим его, была очень слабой и для момента неудовлетворительной, так как она выражалась в освещении теории анархизма, и только; практические же стороны его в момент революции, когда с анархическим движением революционные власти считались, а трудовые массы к нему прислушивались, в него верили и надеялись, что из-под боевых знамен анархизма начнется их организация и в деле потребления, и в деле производства, и в деле защиты тех насущных свободнических творческих начал, без которых формулировать, развивать и разрешать эти три основные задачи нового социально-общественного строительства немислимо, – эти стороны почти не затрагивались. А если затрагивались, то, благодаря неподготовленности к ним анархистов, последние не могли ни сами как следует воодушевиться ими, ни воодушевить ими трудящихся, кровно заинтересованных в торжестве свободы над произволом, равенства над бесправием и в переходе к ним, труженикам, завещанного им историей общественного капитала: земли, фабрик, заводов, железных дорог и т. д. и т. д.

Докладчик Макс Альтенберг бессилён был удовлетворить съехавшихся в Саратов анархистов как своим пониманием момента революции, так и своим освещением роли нашего движения в ней. Не мог он удовлетворить их и своей осведомленностью о том, в каком направлении и как город Саратов соприкасается с фронтом контрреволюции. В этом вопросе докладчик старался затушевать и скрыть от аудитории свою неосведомленность. Не раз повторял он, что он очень близок с «Саратовским Смольным» (революционный краевой комитет), и бесцеремонно лгал нам, что, дескать, город Саратов накануне эвакуации. К нему-де со стороны городов Балашова и Калача продвигаются чехословаки, а потому, мол, «вы разъезжайтесь из Саратова», просил нас докладчик.

Большинству аудитории нашей конференции было ясно, что докладчик, предлагая нам покинуть Саратов, выполняет поручение его близких: врагов анархического движения из «Саратовского Смольного». Из-за этого пункта многие товарищи, в том числе и я, поссорились с докладчиком. Мы хорошо знали, что чехословацкие воинские части в этой области в то время не предпринимали вооруженных действий против большевистско-левоэсеровского блока. Поэтому для нас неопровержимо ясно было, что докладчику и его товарищам после разгрома большевиками анархических групп в Москве и других городах выгодно было приспособляться к тону «Саратовского Смольного». Докладчик, как и

«Саратовский Смольный», не хотел, чтобы съехавшиеся из Украины анархисты занялись делом анархического движения в Саратове. Чувствуя неопровержимую правильность этого объяснения, ряд товарищей обрушились на докладчика с резкими нападками, и на этом саратовская конференция закончилась. Многие товарищи в тот же день разъехались по другим областям России.

Здесь, в Саратове, я впервые встретился с анархисткой Аней Левиной. Помню, товарищи сказали мне, что она – бывшая каторжанка. Последствия режимов царской каторги дают себя чувствовать. Она лежит в больнице. Я не замедлил посетить ее. В группе товарищей, отступившей из Украины, оказался товарищ Ани Левиной – Рива (член мариупольской группы анархо-коммунистов). С нею я и пошел в больницу навестить товарища.

Аня приняла нас и долго мило беседовала с нами о прошлом и о настоящем. Помню, как сегодня, я спросил ее о состоянии здоровья, а она в ответ просила рассказать ей, что делается нашими анархическими группами и организациями. Это меня радовало. Я сознавал, что жить и болеть тем, что делается всюду в стране нашими группами и организациями, может только испытанный и искренний товарищ. Именно таким она мне казалась, и я от всей души желал ей как можно скорее окрепнуть и выписаться из больницы.

– Наше движение, – говорил я ей, – могучее, но дезорганизовано; его нужно организовать и вооружить новыми средствами, свежими и здоровыми волею силами.

Попрощавшись с Аней, мы оставили ее в больнице. И больно было на сердце, что в такое время и таким именно товарищам приходится валяться по больницам, залечивать раны – последствия прошлого строя.

Товарищи мои по гуляйпольской группе анархо-коммунистов – Павел Сокрута, В. Антонов, Петровский – выехали тоже в направлении Украины.

Я же, державший направление на Москву, остался с рядом товарищей пока что в Саратове. Из мариупольской группы со мной остались Любимов (матрос) и Рива; из юзовских товарищей – Васильев; из екатеринославских – Гарин. Фамилии и места проживания многих других оставшихся со мною товарищей я забыл.

Тем временем мои друзья завязали связи с организацией моряков-матросов кронштадтцев и черноморцев. Эта организация была в то время в Саратове единственной силой, которая могла помешать развитию самодурства краевой саратовской власти. Она и готовилась к выступлению против чеки и за раскрепощение свободы слова. Мне лично эта организация матросов казалась контрреволюционной. Я об этом говорил своим товарищам. Но в ее требованиях, во имя которых она готовилась к вооруженному выступлению против чеки, было так много справедливого, что кричать против нее открыто я стыдился. Чека была явно контрреволюционной силой по сравнению с этой организацией.

В это же время прибыл в город Саратов отряд одесских террористов. Он насчитывал до двухсот пятидесяти человек. Все были вооружены с ног до головы. Все те бойцы из этого отряда, с которыми я виделся в городе (отряд со своим эшелоном остановился в городке-поселке при городе Саратове), заявляли себя «одесскими анархистами-террористами». Этот отряд, как и многие другие, отступил из Украины, не остановился на фронте и не дал разоружить себя под Царицыном. Он пробирался теперь через Центральную Россию на противонемецкий и гетманский фронт, на Украину и считал наиболее удобным переход границы в курском направлении.

Когда этот отряд прибыл в Саратов, он остановился в городке. Но отдельные бойцы его начали шататься по городу, в Саратове. Бдительная краевая «советская» власть, которая в это время уже нащупала организацию матросов Балтики и Черноморья, обратила свое внимание и на этот отряд террористов... Помню, некоторые матросы говорили: «Наша организация почти раскрыта. Вследствие этого многие из нас на время покидают Саратов...» Террористы же из одесского отряда заявляли: «А мы не боимся власти. Если она нас затронет, мы ее разгоним из Саратова...»

Все эти обстоятельства заставили меня прибегнуть к некоторой осторожности. Я с

Васильевым и Ривой перешел из гостиницы «Россия» на частную квартиру, подальше от центра города. Остальные наши товарищи остались в «России». Они имели знакомых среди одесских террористов. Последние манили их в свой отряд, и они, хотя и осуждали название и поведение этого отряда, продолжали с ними встречаться...

Как-то раз, когда ряд одесских террористов ранним утром зашли в гостиницу «Россия» посетить своих знакомых из наших товарищей – попутчиков от самого Ростова, гостиницу оцепили чекисты и обезоружили террористов, среди которых оказался и сам командир их, а заодно с ними и всех наших товарищей.

Обрадовавшись тому, что среди обезоруженных террористов находился и сам их командир по прозвищу «Миша», саратовские чекисты, оставив всех обезоруженных в гостинице «Россия» под охраной двенадцати вооруженных карабинами красноармейцев, сами, схватив этого командира Мишу с собой на извозчика, окружили себя конными коммунистами-чекистами и быстро помчались в направлении городка, чтобы разоружить весь отряд одесских террористов.

По дороге к городку чекисты наткнулись на троих людей из отряда террористов, которые шли в город, видимо, тоже в гостиницу «Россия». Чекисты решили и их схватить. Но люди эти, заметив, что останавливавшие их чекисты везут с собою их командира, не задумываясь, начали бросать в гущу чекистов бомбы, в результате чекисты, и пешие, и конные, разбежались, оставив командира отряда террористов связанным, но невредимым на извозчике. Таким образом, и эти три человека, которые метали бомбы в чекистский отряд, пытавшийся их задержать, и их командир спаслись.

Акт трех человек из отряда террористов в мгновение ока стал известен в центре города, в частности в гостинице «Россия». Услышав о нем, обезоруженные террористы и наши товарищи, оставшиеся в этой гостинице под охраной 12 конвоиров, напали на последних, быстро обезоружили и повязали их, вышли из гостиницы и скрылись.

Через полчаса двое из них прибежали на одну из квартир наших товарищей и сообщили через эту квартиру мне о случившемся в гостинице «Россия», в частности, об акте трех человек из отряда террористов. А еще через час-два мы в числе 15–20 человек, поодиночке и по два, сходились у паровой пристани «Русь», где уселись на один из отходивших пароходов (кажется, по имени тоже «Русь») и в послеобеденное времяплыли уже вниз по течению Волги, в город Астрахань, без всяких, конечно, гарантий за то, что нас чекисты не схватят на пароходе и не расстреляют без всякого опроса и разбора. Правда, одна гарантия у нас была: это – револьверы, бомбы и сила воли, чтобы в случае чего овладеть пароходом и причалить к берегу там, где нам нужно. Но оказалось, что мы уселись на пароход никем из чекистских сыщиков не замеченные и доехали до Астрахани благополучно.

Глава XI

Астрахань. Мой уход от попутчиков. Поиски работы. Встреча с астраханскими анархистами и выезд из Астрахани

Как только мы все вступили на мостовую города Астрахани, мы в первую очередь обратились в Астраханский Совет с просьбой дать нам квартиры. В Совете нам дали записку на занятие номеров в одном отеле, в котором я и переночевал одну ночь. А затем я с товарищами Любимовым и Ривой пошел искать работу, чтобы неделю-две прожить, не навлекая на себя никакого подозрения. Да и хотелось познакомиться с населением Астрахани, с его отношением к революции и к новой власти.

Товарищ Любимов нашел себе работу матросом на частном пароходе. Я познакомился с одним из местных максималистов, который осветил мне положение астраханского фронта и посоветовал мне обратиться в краевой Астраханский Совет, который помещался в это время в Астраханской крепости, в архиерейском доме. Там, дескать, мне посодействуют найти подходящую работу. Товарищу же Риве работы на пишущей машинке не попадалось, и она, оставив поиски работы, возвратилась к остальным товарищам.

Добился я пропуска в краевой Астраханский Совет. В Совете меня принял товарищ председателя – максималист Авдеев. Долго говорил он со мною, расспрашивая меня то о том, кто я – большевик, или социалист-революционер (правый, левый), или максималист, или анархист, то о положении противонемецкого фронта, то о том, как украинские труженики встретили немецкие армии, и т. д.

Обо всем я говорил с ним совершенно свободно и откровенно, лишь не сказал, к какой революционной группировке принадлежу. На желание максималиста узнать это я ответил тремя десятками слов:

Зачем вам лезть в мою душу? Документы мои говорят, что я революционер, и говорят о том, какую я играл роль в известном районе на Украине. К контрреволюционерам я не принадлежал и не принадлежу.

Товарищ Авдеев несколько смутился моим ответом, однако был мил и искренен в дальнейшем разговоре. Он спросил меня, не желаю ли я остаться пока что в агитотделе при краевом Совете?

Я ответил:

– Я хочу работать и буду работать где угодно, кроме чрезвычайки и милиции.

Он вызвал председателя агитотдела, который через 10 минут прибыл. Последний был грузин. Авдеев познакомил меня с этим грузином, «левым» большевиком по убеждениям, и я был зачислен членом агитотдела, на паек хлеба и на бесплатную квартиру. От квартиры я отказался, так как уже нанял с Любимовым.

В тот же день я перешел от своих товарищей из отеля и поселился вместе с Любимовым. Помню, мои попутчики были недовольны, что я от них ухожу. Но я хотел уединиться, хотя бы в ночное время, от споров и крика. Я вел записи о своем отступлении из Украины, о связанном с ним путешествии и поэтому на возмущение товарищей я не обращал внимания, тем более что эти мои товарищи нашли себе дешевые номера и решили задержаться в Астрахани на несколько месяцев, тогда как я должен был во что бы то ни стало быть к 1 июля на Украине, если и не в самом Гуляйполе, то обязательно в его районе. Сперва товарищи удивлялись и моему уединению, и моему бесчувствию к их ропоту; но когда узнали, в чем дело, они начали посещать меня, во всем советоваться вплоть до моего отъезда.

За те дни, что я числился в агитотделе, я разыскал астраханскую группу анархистов-коммунистов. Она издавала газету «Мысли самых свободных людей». Товарищи из этой группы показались мне очень славными работниками; но они не могли развернуть своей работы: они были связаны чекой. Им нельзя уже было свободно выступать с идейной критикой против всех ужасов, творившихся чекой. В их бюро всегда находились чекисты – правда, не официально, а под видом рабочих или интеллигентов, разочаровавшихся в той или иной идее и теперь ищущих себе духовного удовлетворения в анархизме. Большинство дней моего пребывания в Астрахани я и проводил то с тем, то с другим товарищем из группы астраханских анархистов. Тут же, в Астрахани, в газете «Мысли самых свободных людей», я поместил первое свое стихотворение, написанное на московской каторге, под названием «Призыв» и за подписью «Скромный» (мой псевдоним на каторге).

За эти дни я имел возможность походить по городу, свободно осмотреть развалины его зданий.

– Почему он так разрушен? Что здесь, жестокие уличные бои были, что ли? – спрашивал я и у своих товарищей, и у официальных максималистов и большевиков. И получал один ответ.

Во время революции здесь восстание против царской власти и власти Временного правительства делали кавказцы. В их представлениях революция тесно связана в ее практической стороне с грабежом. Они жгли буржуазные дома, жгли магазины. Требовалась большая организационная сила и энергия со стороны революционеров, чтобы очистить от этой примеси принципы революции.

И действительно, кто мог взглянуть на этот город в то время, тот мог бы сказать, что

спасение другой его части от разрушения стоило колоссальных усилий тем, кто вел за собой массы угнетенных властью, оскорбленных и униженных обратным грабежом со стороны буржуазии всех видов, которая, под покровительством власти, совершала его над этими массами.

Однако возвращусь к моему агитотделу. За неделю, что я в нем числился и ходил на его совещания, я заметил, что за мною следят, что-то подмечают. Но, не показывая виду, я набрался нахальства: наравне с другими видными членами агитотдела вносил свои поправки по тем или другим вопросам, вмешивался в споры об экономической и политической стороне жизни страны. И это как будто проходило мне. Но проходит день, другой, третий, я сдержан, но определенно говорю красногвардейцам, уходившим на петровский боеучасток фронта революции, что в задачу нас всех, трудящихся, входит одна цель: это полное экономическое и политическое раскрепощение себя. Революционный солдат должен над этой целью серьезнейшим образом подумать и провозгласить ее лозунгом дня. Это воодушевит трудящихся во всех уголках страны, и наша победа над контрреволюцией завершится празднеством мира, равенства и свободы, на основе которых начнет строиться новое свободное коммунистическое общество...

За то, что я осмелился говорить с революционными солдатами не по программе агитотдела, я получил особое замечание с выдачей мне на дорогу денег и с запросом: «Вы, кажется, стремитесь в Москву?»

– Да, да, я должен пробираться в Москву, – ответил я своим коллегам из астраханского агитотдела. А затем зашел в группу астраханских анархистов и, попрощавшись с ними, заглянул к товарищу Любимову на работу, попросил его пойти и купить мне на какой-либо паровой пристани билет до Саратова, а сам начал укладывать свои вещицы в чемодан с расчетом, чтобы сегодня же покинуть полуразрушенный, на взгляд социально-демократический, но в действительности чуждый демократизму и социализму город Астрахань.

Товарищ Любимов пошел за билетом, но не купил его. Вернулся ко мне без билета и заявил, что я ошибся, дав ему денег на билет до Саратова.

– Тебе, – говорит, – билет нужен до Царицына; ведь твои друзья-коммунары и твоя жена находятся под Царицыном...

Словно кипятком, ошпарил меня товарищ Любимов, не взяв мне билета потому, что я, дескать, ошибся, куда мне нужно было ехать.

Я с ума сходил от досады, тем более что пароходы были, но теперь уже ушли. Я должен был оставаться еще на сутки в Астрахани.

Итак, я остался, не поехал. Любимов был рад и не скрывал этого.

Лишь когда я ему объяснил, что могу опоздать вовремя возвратиться на Украину и что мне теперь не до коммунаров и не до жены, поселившихся на крестьянских квартирах и живущих в мирной обстановке, он смутился. От злости теряю равновесие, тычу ему под нос кучу газет, кричу:

– На, смотри и читай, что делается на Украине: всюду шомполуют, стреляют, вешают революционных крестьян и рабочих, а ты мне говоришь, что я ошибся в названии места, до которого нужно было купить мне билет. Ты говоришь, будто я думал взять билет до Царицына, а сказал до Саратова. Сумасшедший ты, дружище!

А когда мы оба успокоились и сели за стол поужинать, я снова прочел сведения из Украины о том, как возвращаются в «свои» усадьбы бежавшие из них во время революции помещики и как с помощью солдат немецкой и австрийской армии у крестьян отбирают живой и мертвый инвентарь, как крестьян наказывают... Параллельно с этим вспомнил я и сопоставил все те наказания, которым я лично подвергался на каторге за непокорность режиму. Это напомнило мне мое обещание, данное сидя еще в гнусных казематах тюремных стен, вырваться на волю и отдаться всецело делу борьбы трудящихся с их бесправием соответствующими времени средствами.

Я перебирал мысленно причины нашего отступления из Украины, все те практические

соображения, которые понудили меня после таганрогской конференции двинуться с рядом товарищей на известное время из Таганрога далее, в глубь России, благодаря чему я теперь путаюсь в полуразрушенной Астрахани. Я передумывал все это и жестоко укорял себя за выезд из Украины. А время несло своим чередом. И мне казалось, оно так быстро и так много уносит от меня того, что, быть может, другие будут переживать, на чем, быть может, многие погибнут там, на Украине, в вооруженной схватке революции со своими палачами...

Все это меня возбуждало, усиливало во мне гнев на самого себя, на товарища Любимова, на всех, с кем я связался в пути следования на Москву... Но больше всего злился я на большевистско-левозсеровскую власть, которая мне казалась самой главной виновницей того, что трудовой организм страны разорван на разного рода политические группировки, благодаря чему народ оказался беспомощным поднять все свои силы на борьбу с вооруженной контрреволюцией и помешать ей овладеть Украиной. Во имя авантюристических целей отдельных политических шовинистов, во имя их власти над украинским трудовым народом истреблялось теперь все лучшее в революции, вырывались из ее рядов самые преданные революционные сыны, убивались они, а с ними и надежды многомиллионных украинских тружеников села и города на победу революции. Правда, подлейшая Центральная рада сдала уже в это время свою власть гетману. Вся эта контрреволюционная сволочь, которая, видимо, сама не замечала, куда шла до сих пор и куда вела своих союзников – немецких и австро-венгерских сатрапов, – была теперь в плену у этих самых союзников. Она уже не могла сама творить того гнусного дела против революции, которое она творила и позволяла от своего имени творить этим своим союзникам. И эти «добрые, славные» союзники, на которых Центральная рада так надеялась в своей борьбе с большевиками, левыми социалистами-революционерами, анархистами, в борьбе со всей революцией, теперь низвергли свою союзницу и предоставили украинским буржуа водрузить на ее место гетмана. Теперь он, этот новоиспеченный царь-бандит, дал свое имя немецким и австро-венгерским бандитам, чтобы они могли творить свое гнусное дело над украинским трудовым народом. Бандит-гетман обязался перед Вильгельмом II немецким и Карлом австро-венгерским продолжать в союзе с ними дело Украинской Социалистической Центральной рады, и продолжать более определенно и с еще большими гарантиями, чем можно было ожидать от Центральной рады. Немецкие и австро-венгерские цари и буржуа так нуждались в украинском хлебе и мясе, так желали расцвета украинской монархии и помощи от нее не только хлебом и жировыми веществами, но и живым человеческим мясом, если не против республиканской Франции, то хотя бы против Русской Революции, этой рассадницы революционных бурь и пожаров, предвещавших гибель буржуазному классу, и в первую очередь царям и их коронам!..

На этом деле бандиты нашли общий язык. Украинский бандит, судя по газетам, принял все планы немецко-австро-венгерского военного командования и в отношении украинского трудового народа, и в отношении его богатств. Предвиделось полное ограбление тружеников – ограбление, начатое немцами и австрийцами еще вместе с радой. Теперь оно имело шансы еще более разрастись. Но неужели же украинские революционные труженики не воспрепятствуют ему?.. Нет, они опомнятся, они положат конец всей этой подлости. Нужно ехать к ним, нужно быть среди них...

Так, освещая товарищу Любимову положение на Украине, каким оно мне представлялось по последним сведениям, я просидел почти до утра.

Товарищ Любимов заявил мне, что и он едет со мною, но я ему отсоветовал, мотивируя тем, что я сам еще не знаю путей через границу, которая, по сведениям, на всем своем протяжении бдительно охраняется немцами.

Мы условились, что я из Москвы, а в крайнем случае из Курска напишу ему подробности о границе и он немедленно покинет Астрахань.

Наутро я в сопровождении Любимова и Васильева был уже на пароходных пристанях и в последний раз наблюдал всероссийское богатство, выражавшееся в непрерывном движении тысяч пароходов, шхун, лодок и лодочек, прибывавших и отбывавших с товарами

во всех направлениях. Это живописное движение сочеталось с природной красотой дельты реки Волги, окаймленной песчаными берегами и черными замётами на диком пустыре понад берегом. А в десять часов утра мы все трое пожали друг другу руки, облобызались, обещая встретиться на Украине, и я влез в каюту парохода «Кавказ и Меркурий». Был час отправки. Покуда пароход отчаливал, мы еще раз перекликнулись двумя-тремя фразами, перебросились, словно дети, двумя-тремя братскими поцелуями, махнули платочками, от чего я расчувствовался... А далее я выскочил на палубу парохода и устремил взор в оставляемую Астраханскую пристань, на всю ширь Волги, подходящей здесь к Каспийскому морю, и не отрывался от этих видов, пока движение парохода не скрыло их от меня.

Глава XII В пути от Астрахани до Москвы

Против течения пароход шел не так быстро, как я представлял себе. До Саратова путь далекий, и это дало мне возможность наедине сосредоточиться и подумать о том, куда я еду и зачем.

Куда я еду – это было просто и понятно. Я еду до Саратова пароходом, а там сяду в поезд и отъеду в Москву. В центре бумажной революции я увижусь, с кем пожелаю; поговорю, о чем захочу, и направлюсь на Украину. Так мы ведь решили на таганрогской конференции!.. Кажется, тоже все просто и понятно. Однако я о чем-то тревожился. Что-то нагоняло на меня какую-то навязчивую боязнь ответственности перед тем, что предстоит мне с рядом товарищей начать на Украине в связи с борьбой не на жизнь, а на смерть со всеми явными и тайными силами контрреволюции. И вот я еще раз пересмотрел газеты с сообщениями о деяниях немцев и гетманщины на Украине; еще раз продумал ту цель, во имя которой я и многие мои близкие, дорогие друзья и товарищи по группе должны быть к первым числам июля на Украине. Во всем, что я продумывал, я сознавал замысел великого дела, в особенности если мы начнем его удачно, если разовьем и предохраним его от искажений, которые могут найти себе место в нем хотя бы уже потому, что мы растворимся в массе тружеников, сбросим белые перчатки с рук и слащавую идеализацию с уст и поведем за собой в бой против контрреволюции широкие массы, действие которых встретит жестокое противодействие со стороны наших врагов, врагов подлинной революции, а это обстоятельство придаст нашей борьбе всеразрушающий, всеуничтожающий на пути противодействия характер. В этой жестокой борьбе моральные стороны преследуемой нами цели неизбежно будут уродоваться и будут такими уродливыми казаться всем до тех пор, пока связанное с этой целью намечаемое нами дело борьбы не будет признано всем населением *своим* делом и не начнет развиваться и охраняться непосредственно *им самим*... Да, да, все это так... «Но правилен ли подход к этому делу?» – задавал я себе вопрос. Можно ли посредством отдельных групповых выступлений против помещиков, немецко-австрийского и гетманского командования и устанавливающихся под военной охраной учреждений поднять на борьбу широкие трудовые массы? Ведь прошло уже больше месяца с тех пор, как над украинскими тружениками села и города царит деспотия упомянутых палачей. Неизвестно, какие психологические изменения произошли в среде тружеников за это время. Ведь может случиться, что они убаюканы (если не застрашаны казнями) этими палачами так, что перестали и думать о своем позорном положении... Может случиться, что весь бунтовской дух украинских тружеников под давлением жестоких казней пал; что его заменил дух уныния, дух рабства, сковывающий вольную мысль дерзания на лучшее... Все это может быть, рассуждал я сам с собою, в своей одинокой тихой каюте...

Но когда я это «может быть» отбрасывал в сторону и ставил себе вопрос, мог ли бы я лично примириться с тем, что сейчас воцарилось на Украине, с тем, что совершается над ее трудовым населением, именно я, вышедший из недр этого населения, знавший его рабскую жизнь и то, как оно, наполовину свергнув гнет опутавшего его экономического и политического рабства и ощутив на этом пути свободу, стремилось воспринять для своей

жизни новые идеи, разобраться в их содержании и, вступая на путь строения новых форм социально-общественной жизни, вооружало ее новыми порядками, новым правом, которое обеспечивало бы свободу и социальную справедливость одинаково за каждым человеком, – когда я ставил себе этот вопрос, тогда мое допущение, что, может быть, украинские труженики психологически изменились под давлением казней и утратили свой бунтовской дух, свою готовность к новой, более цельной борьбе за свое освобождение, быстро теряло значение для моей оценки положения на Украине. В моей непримиримости с тем, чтобы на Украине надолго воцарились корона гетмана и немецкое юнкерство, я чувствовал и видел непримиримость украинских революционных крестьян, на которых единственно была надежда, что они способны пережить всю деспотию гетманщины на себе, но не помириться с нею. Наоборот, при первом удобном случае, они восстанут против нее и, не щадя себя, постараются уничтожить как ее самое, так и те черные силы, которые способствовали ее приходу к власти над страной.

Эта моя глубокая вера в украинское революционное крестьянство заслоняла для меня все те явления, которые на Украине развивались в это время на пользу гетманщины и которые, не имея я в себе веры в крестьянство, могли бы поколебать меня в моих планах возвращения нашей анархической группы на Украину и организации крестьянского восстания. С помощью этой веры в крестьянство я сумел критически отнестись к тем явлениям, какие наблюдал месяц-полтора тому назад на Украине, какие видел в пути по России и какие предполагал снова увидеть в недалеком будущем на Украине. И так как это недалекое будущее представлялось мне отстоящим всего на один месяц, то я к нему готовился, заранее радуясь той свободе, которую, по-моему, украинское революционное крестьянство должно было в будущем, намечаемом нами восстании завоевать себе.

* * *

Пароход подходил к Царицынской пристани. Зная, что он здесь пристанет, я подумал: а может быть, захватить на день-два к своим коммунарам, к подруге, которая, вероятно, уже родила мне сына или дочь?.. Повидаться со всеми ними... Обнять, поцеловать дитя... И тут же вспомнил, что ведь Москва должна была взять у меня недели две, так как в центре бумажной революции я лелеял мысль встретить многих и разного направления революционеров... Я принужден был отказать себе в счастье увидеть своих родных, дорогих, близких. Я ограничился тем, что написал им несколько теплых приветственных слов на открытке и опустил ее в почтовый ящик.

На Царицынской пристани я купил свежие газеты. Они были полны сведений об Украине, о разгуле по ее городам и деревням экспедиционных карательных отрядов из немецко-австрийских оккупационных контрреволюционных армий и из армий «державной варты» гетмана. Все эти сведения об Украине переплетались со сведениями о боях Красной Армии с чехословаками, прорывавшимися через Центральную Россию в Сибирь, где в то время нашла себе широкий плацдарм контрреволюция адмирала Колчака и возлагавших на него большие надежды, а потому облепивших его социалистов-учредителей.

Все эти сведения, вместе взятые, наводили на меня грусть, сменявшуюся подчас боязнью то за окончательную гибель революции и всех ее завоеваний, то за то, что мне не удастся пробраться к назначенному времени на Украину, или если и удастся, то вряд ли я что успею сделать в области организации новой, более мощной по характеру и по вооружению социальными средствами действия крестьянской революционно-боевой силы. Эта боязнь за то и за другое иногда овладевала мною настолько сильно, что бывали часы, когда я не мог говорить ни с кем из пассажиров даже о необходимом и не отвечал, когда кто-либо из них меня о чем-нибудь спрашивал.

Так, замкнувшись в самого себя, с подавленным чувством негодования на ход событий, на себя, на людей, так или иначе ответственных за такие зигзаги в ходе этих событий, не замечая ряда пристаней между Царицыном и Саратовом, на которых во время моего переезда

я выходил, делая нужные покупки, наблюдая невольно приковывающие взор отлоги волжских берегов, я приехал в Саратов, из которого всего две с половиною недели тому назад бежал...

Теперь Саратов, как и его краевая «Советская» власть, показались мне совсем другими. За этот сравнительно короткий промежуток времени власть достигла больших «побед»: она разоружила отряд одесских террористов и посадила его в тюрьму; она сразилась на улицах города с организацией матросов Балтики, Черноморья и Поволжья, и хотя и потеряла свое роскошное здание – «Смольный», в котором заседала и разрешала судьбы «своего» края (это здание было разрушено из орудий восставших), но разогнала и эту организацию. И теперь она хотя и помещалась в одноэтажном хиленьком домишке, но чувствовала себя полной победительницей и хозяйкой города.

В Саратове я бросился сперва в сторону анархистов, но их уже там не было. Выехали в направлении Самары. «Один только Макс с какими-то двумя барышнями путается возле революционного комитета. Его там всегда можно найти», – сказал мне один из товарищей, знавший меня со времени конференции приезжих анархистов.

Разыскивал я этого Макса и возле ревкома, и в самом ревкоме, но не нашел. Это был период начала приспособленчества многих анархистов к официальным большевикам. Их трудно было разыскивать в это время приезжему анархисту, в особенности при помощи расспросов у тех, возле кого они вертелись. И то, что я не разыскал его, Макса, притом там, где он, по указаниям товарища, путался, лишь усилило во мне подозрение к нему. Я прекратил расспросы и поиски и взял в ревкоме бумагу на получение внеочередного плацкартного билета до Москвы. На получение такой бумаги я, по своим документам (председатель гуляйпольского районного Комитета защиты революции), имел право, и я получил ее без всяких промедлений.

А чрез три-четыре часа я был уже в поезде и ехал в Москву.

В пути вследствие каких-то железнодорожных недоразумений, которых мне не удалось выяснить, поезд задерживался очень часто на станциях и полустанках. Публика роптала, а кондуктора ее успокаивали пояснением причин таких частых задержек поезда. Причины эти были разные: здесь были и чехословаки, выступавшие против соввласти, и дутовцы... Но вернее всего частые задержки поезда происходили от разрушенного железнодорожного транспорта, от нехватки угля, дров и т. п.

В Тамбове я задержался на целые сутки. Спал в номере отеля. Днем бродил по городу, искал бюро анархистов. Но, увы, найти не нашел. Попал к левым социалистам-революционерам. Среди них встретил немало бывших каторжан, знавших меня с московских Бутырок. От них я узнал, что в Тамбове сейчас что-то никого из анархистов не слышно. Не то ушли в подполье, не то просто, не имея почвы в широкой массе тамбовских тружеников, разъехались из города...

Больно мне было слушать от эсеров такое повествование об анархистах, но в нем была доля правды. Поэтому я опять, как только уселся в поезде на Москву, мысленно бросился за поисками тех социальных средств для социальных действий анархизма, которых анархизм, по-моему, не имеет у себя, без которых анархизм бессилён организовать под своими знаменами широкие массы трудящихся и формулировать им в их решительной борьбе задачи дня.

Копаясь в этих мыслях, я невольно бросал взор на деятельность социалистов-революционеров, левых и правых, социал-демократов – большевиков и меньшевиков. В этом лагере социализма я видел кипучую работу среди трудовых масс. Правда, работа социалистов этого рода сводилась, главным образом, к интересам их партии, но работа эта у них имела свое организационное лицо, с определенным выражением их воли, и была колоссальная работа. Почему бы и нам, анархо-коммунистам, не заняться организацией своего движения и выявлением среди широких трудовых масс деревни и города организационных начал мыслимого нами социально-общественного строя, задавал я себе вопрос. И тут же отвечал: мы не способны. У нас нет сил и нет навыка, нет практики

держаться единства действий в целях нашего движения. Мы до сих пор не хотим понять того, что наши группы и группки в разнородных, подчас вовсе не анархических действиях, в которых мы привыкли видеть цели нашего движения, не могут справляться с теми требованиями времени, идя навстречу которым наше движение становилось бы все понятней трудовым массам, так что они за него ухватились бы как за единственное подлинно революционное движение... Но так ли будет у нас, на Украине, когда мы все благополучно возвратимся и займемся делом нашего движения, делом революции? Задавал я себе вопрос, и хотя не отвечал на него, но чувствовал, что так никогда у нас не будет...

Время на восходе солнца. Показалась Москва, со своими многочисленными церквями и фабрично-заводскими трубами. Публика в вагоне заворошилась. Каждый, кто имел у себя чемодан, вытирал его, так как в нем было у кого пуд, у кого полпуда муки, которая от встрясок вагона дала о себе знать: выскакивала мелкой пылью из сумок, сквозь замочные щели чемодана... Публика не рабочая. Предлагает попавшемуся встречному бешеные деньги за помощь пронести из вагона, сквозь цепи заградительного отряда при выходе из вокзала, свои вещи. Многие берутся, но большинство отказывается, заявляя: «Боюсь, попаду в Чрезвычайную комиссию по борьбе со спекуляцией и контрреволюцией...»

Еще минута-две – и поезд подошел к вокзалу. А еще минута-две – пассажиры с мукой в чемоданах отмыкали свои чемоданы перед стоявшими агентами заградительных отрядов, арестовывались и вместе с мукой отправлялись в надлежащие штабы.

Глава XIII

Москва и мои встречи с анархистами, левыми эсерами и большевиками

По приезде в Москву, как только я вышел из вокзала, я сразу же взял извозчика и поехал на Введенку, дом номер 6, к А. А. Боровому. Лично я Борового не знал, но по газетам узнал, что у Борового можно встретить секретаря *Московского союза идейной пропаганды анархизма* товарища Аршинова. Этот последний мне известен был еще с 1907 года, а на каторге я встретился с ним лично. И на каторге, и по выходе из нее я верил, что мне придется с Аршиновым работать вместе на Украине. Но вскорости мы пошли каждый своим путем, то есть он, по примеру большинства анархистов, предпочел деревне город и остался в Москве, я же уехал в деревню, и хотя не порывал связи с городом, но работал в деревне среди широкой массы населяющих ее тружеников.

Теперь, очутившись временно, не по своей вине, за пределами Украины, я решил посетить Москву. В этом центре «бумажной», как я уже выразился, революции нашли себе прочную оседлость все *видные* революционеры всех толков и направлений. Именно со всеми ими, поскольку мне позволит время, я, проделавший уже до некоторой степени опыт практической борьбы на Украине, и думал встретиться, поговорить, посоветоваться кое о чем. Но прежде всего я хотел встретиться с Аршиновым, хотел узнать от него, в каком положении находится наше движение в Москве после разгрома его большевистско-левоэсеровскою «Советской» властью 12 апреля.

Товарищ Аршинов, как бывший секретарь Федерации московских анархических групп, а в это время секретарь Союза идейной пропаганды анархизма, должен был, по-моему, знать положение нашего движения в Москве. Поэтому я его и искал.

Нашел я Введенку. Поднялся в квартиру Алексея Алексеевича Борового. Позвонил. Дверь открылась, и меня встретил среднего роста интеллигентный человек, красивый и хорошо, с особой четкостью, говорящий по-русски. Он провел меня далее в коридор и указал дверь в кабинет-библиотеку.

Не успел я перешагнуть порог этой двери, Алексей Алексеевич меня спросил: кого я здесь хочу видеть.

Я ответил:

– Товарища Аршинова.

Последовал ответ:

– Он здесь бывает два раза в неделю: по вторникам (если не ошибаюсь. – *Н. М.*) и пятницам.

Тогда я попросил у Алексея Алексеевича разрешения оставить у него свой чемодан, полный тамбовских белых булок, которые я, слыша, что в Москве хлеба нет, привез с собою. И услышав, что чемодан можно оставить, я оставил его, простился с Алексеем Алексеевичем и ушел в город.

Время подходило к обеду. Зашел неподалеку от Пушкинского бульвара в ресторан. Пообедал. Обед плохой и дорого, хлеба мало. Здесь я узнал, что хлеба можно достать сколько хочешь, но какими-то задними ходами и за большие деньги. Это меня так рассердило, что я готов был поднять скандал. Однако, не будучи уверен в том, что распродажа хлеба за особую цену и задними ходами не производится самим хозяином ресторана вместе с большевистскими и левоэсеровскими чекистами, а также имея при себе револьвер, за который чекисты в то время могли даже не довести меня до Дзержинского – расстрелять, я воздержался от поднятия скандала.

И оказалось – был прав. Всего через пять минут по выходе из ресторана я встретил бывшего своего товарища по каторге, польского социалиста, некоего Козловского. В то время он был уже коммунист-большевик и занимал должность участкового милицейского комиссара. Он с большой радостью встретил меня. Повел меня в свой комиссариат, показал мне своих сотрудников и много кое о чем говорил со мною, извинительно подчеркивая мне, что, если бы не требования революции, он ни за что не был бы на должности милицейского комиссара. Революция, дескать, от него этого требует.

Я изрядно посмеялся над его аргументацией, приведшей его на пост палача революции. Узнал я от него трамвайную линию до Анастасьевского переулка, где помещался Комиссариат внутренних дел; а возле него (после разгрома московских анархистов на Малой Дмитровке) большевистско-левоэсеровская власть милостиво разрешила московским анархистам занять себе для нужд секретариата и редакции помещение-сарай, в котором до прихода анархистов «упражнялись футуристы в своих футуристических занятиях», сказал мне комиссар.

Мой бывший товарищ комиссар Козловский провел меня к нужному трамваю, и я простился с ним, пообещав еще встретиться. Поехал я в Федерацию анархистов, надеясь встретить там и Аршинова.

Подступ к Федерации для новичков казался прямо-таки опасным. С одной стороны, потому что он занят был непрерывно шатающимися агентами чеки, наблюдавшими за каждым проходящим, чуть не хватая его. С другой же стороны, вид здания Федерации не внушал к себе доверия: казалось, здесь помещается не Федерация анархистов, а живут агенты чеки, охраняющие сбоку стоящее роскошное здание, в котором находился Комиссариат внутренних дел.

Я долго стоял при входе в этот переулок со стороны Тверской, наблюдая за прохожими. А затем прошел по переулку, минул дверь Федерации, пошел дальше, взшел по ступеням к двери Комиссариата внутренних дел. Она была заперта. Я повернул от двери, спросил чекиста, когда откроется Комиссариат внутренних дел, и, получив ответ: «В три часа», пошел уже прямо в Федерацию анархистов.

В Федерации я застал многих товарищей: одни сидели за низким, широким столом и что-то записывали в большие книги; другие что-то переписывали; третьи перекладывали большие кипы связанной, видимо, нераспроданной ежедневной газеты «Анархия».

Как только я подошел к столу и спросил у сидевших за ним, где можно встретить товарища Аршинова, меня сейчас же отослали в другой угол, где стояли три-четыре товарища и о чем-то оживленно говорили между собою. Из них первым заговорил со мною товарищ Бармаш, которого я лично знал еще с марта месяца 1917 года. Он сказал мне, что Аршинов сюда редко когда заходит. Товарищ же Гордин-младший прямо заявил мне:

– Аршинов не захотел работать с рабочими и ушел к интеллигенции.

Он перечислил мне имена интеллигенции: Борового, Рощина, Сандомирского и других.

Я сперва как будто рассердился на Гордина, а затем подумал: быть может, он прав. Ведь люди, не сознающие того, что без рабочих и крестьян они никогда не воспитали бы в себе революционеров дела (только честно наблюдая за тяжелой жизнью и борьбой рабочих и крестьян, интеллигенты становились и становятся подлинными революционерами дела), эти люди так часто зазнаются перед рабочими и крестьянами. Может быть, что *рабочий* Аршинов дальше Москвы не постарался заглянуть в рабочие ряды, именно теперь, в дни революции. И может быть, предпочел рабочим организациям группу интеллигентов...

Впрочем, это были отвлеченные мысли. Как только я ушел из Федерации, я почувствовал еще большее желание встретиться с Аршиновым и воочию убедиться в том, что услышал от Гордина.

Наступал вечер... Идти в отель мне не хотелось. Поэтому я возвратился опять в Федерацию анархистов и заявил товарищам, что у меня нет квартиры, где я мог бы ночевать. Товарищ Середа, посоветовавшись со своей подругой, предложил мне ночевать у него, предупредив, что спать придется в одной с ними комнатухе и на полу, так как, дескать, нет кроватей и постелей.

Предложение Середы я принял и пошел с ним, его подругой и еще несколькими товарищами, которые жили в том же особняке, к нему на квартиру... Здесь в доме, где жил Середа, я впервые познакомился с известным автором «ассоциационного анархизма» Львом Черным. С этим последним я много говорил о нашем анархическом движении на Украине (которой он никак не признавал и называл только Югом России), об организационном ничтожестве там нашего движения. Все, что я говорил Льву Черному, он принимал с особой болью. Но тут же протестовал против моих мыслей, что анархизму пора отказаться от раздробленной на сотни и тысячи групп и группок формы организации; что анархизм, благодаря этой своей бессодержательной форме организации, выявил себя в революции беспомощным овладеть трудовыми массами, пойти с ними в бой с капиталом и государством и вывести из этого боя тружеников победителями...

Это был главный пункт нашей беседы с Львом Черным. На нем мы разошлись. Однако и после часто встречались в том же особняке.

Из наблюдений моих над Львом Черным, я скоро убедился в том, какой он безвольный человек, как он бесхарактерен в отношениях и к друзьям, и к врагам. Помню, однажды он ходил по комнатам с книжечкой и переписывал мебель. На мой вопрос: «Что вы, товарищ Черный, здесь хозяин, что ли?» – я услышал ответ: «Еще хуже...»

Я поинтересовался расспросить об этом и его, и других. Я узнал, что большевистско-левоэсеровские хозяйственники пришли в этот двор и заявили товарищу Черному, что отныне он комендант этого двора, он за ним должен смотреть, он за него ответствен...

– И что же вы, товарищ Лев, им ответили? – спросил я Черного.

Он сказал:

– Что же я мог им ответить? Они такие нахалы, так навязчивы, что я не мог им отказать в этом. И вот теперь вожусь здесь... Товарищи не понимают моего положения: и на ночь, и в полночь появляются здесь. Если ворота заперты, лезут через верх, нарушают покой обитателей, которые обижаются, заявляют об этом мне, а я не могу говорить об этом ни товарищам, ни квартальному комитету... Думал как-то сбежать отсюда, но устыдился самой мысли об этом.

Больно было слушать и смотреть на этого деликатного человека, но еще обидней было мне видеть в нем безвольного человека, человека-тряпку, с которым другие делают что хотят, а он, как безвольное существо, не имеющее необходимого в его положении характера, не может все это перезреть и покинуть.

Да разве такие люди могут что бы то ни было сделать в круговороте революционных бурь, где у человека без воли, без характера не хватит ни терпения, ни нервов преодолеть те ненормальности, которые первыми всплывут на поверхность практической борьбы – той борьбы, через которую широкая масса трудящихся стремится обрести себе свободу и право на независимость от власти капитала и государства?! Разве такие безвольные люди могут

быть способны находиться в рядах этой массы и оказывать ей своевременную нужную помощь?! Никогда в жизни!.. Такие люди могут лишь освещать прошлое, если им попадетс верный материал о нем и если правительственные хозяйственники не будут их назначать в коменданты. Вот с этой лишь стороны они могут оказать помощь: но уже не тем, кто сейчас действует, а идущим им на смену поколениям.

От всей души жалел я Льва Черного и в то же время возмущался его безволием и бесхарактерностью. Человек этот обладал талантом оратора и писателя, был искренен и в том, и в другом проявлении себя, но не умел уважать себя, ограждать свое достоинство от той грязи, которая, судя по моим расспросам и точным наблюдениям, липла к нему. Эта сторона его индивидуальности мешала ему, как многим известным анархистам мешали другие стороны, выбраться на широкий путь массового действия анархизма в революции и занять на нем надлежащее место, очень далекое от комендантского поста в московском особняке...

Расстался я с особняком и с товарищами Середой и Львом Черным лишь тогда, когда разыскал наконец Петра Аршинова. Последний проживал в одном из отелей на базарной площади (близ Театральной площади) – не комендантом, конечно, а у коменданта, распорядившегося этим отелем от имени крестьянской секции при ВЦИК Советов.

Встреча с Аршиновым, а также и с комендантом этого отеля Бурцевым была для меня радостью. Все мы друг друга знали из московской каторги. Все чувствовали взаимное уважение друг к другу. Это нас сближало без того, что мы все считались анархо-коммунистами.

От Аршинова я узнал, что он действительно ушел от работы Федерации московских анархических групп, потому что не нашел в ряде товарищей серьезного отношения к делу нашего движения.

Кто из них прав, я, конечно, не старался выяснить. Я старался понять, чем дышит теперь Аршинов и чем занимается.

В ряде бесед, а также при совместном с Аршиновым посещении Алексея Алексеевича Борового и из беседы с последним, я выяснил, что Аршинов работает в качестве секретаря и организатора лекций для членов Союза идейной пропаганды анархизма.

Вскоре после нашего посещения А. А. Борового Аршинов организовал лекцию «О Толстом и его творчестве», которую читал Иуда Гроссман-Роцин, со вступительным словом товарища Борового.

Эта лекция, как и вступительное слово к ней Борового, меня, крестьянина-анархиста, очаровали; в особенности, должен сознаться, очаровало меня слово Борового. Оно было так широко и глубоко, произнесено с такой четкостью и ясностью мысли и так захватило меня, что я не мог сидеть на месте от радости, от мысли, что наше движение не так уж бедно духовными силами, как я себе представляю. Помню, как сегодня, что я, как только Алексей Алексеевич окончил свою вступительную речь к лекции Роцина, выскочил из зала и побежал в фойе, чтобы пожать ему, Алексею Алексеевичу, руку и выразить свое чувство товарищеской благодарности. Зайдя в фойе, я встретился лицом к лицу с Алексеем Алексеевичем, прохаживавшимся по фойе. Я был полон радости за него, за его успех перед аудиторией, которая – я видел и переживал это вместе с ней, я был в этом убежден – аплодировала с такой радостью и чувством благодарности. Затем, разговорившись с ним, я подал ему руку и выразил ему все то, что чувствовал... По-моему, он вполне заслужил такое выражение признательности.

Но Алексей Алексеевич был скромн и, крепко держа мою руку в своей, полусмеясь и глядя на меня и на стоявшего рядом со мной Аршинова, сказал:

– Благодарю, но мне кажется, что я несколько обидел товарища Роцина: заставил его долго ожидать конца вступительного слова.

Я подхватил:

– Нет, вам, Алексей Алексеевич, мало времени дали!..

Мы обменялись еще несколькими фразами и разошлись. Он, Алексей Алексеевич,

пошел на кафедру и сел возле начинавшего свою лекцию Рощина, а мы, я и Аршинов, пошли в зал и уселись на скамьи слушателей.

Товарищ Рощин говорил. Публика тихо, с напряженным вниманием смотрела на него и слушала.

Лекция была серьезная, и прочитана она была очень удачно. Успех был колоссальный. Помню, я говорил о ней и с Рощиным, и с Аршиновым, который в то время считал Рощина звездой среди молодых теоретиков анархизма. Заметно было, что Аршинов перед ним таял, хотя и отмечал, что он, Рощин, страшно бесшабашный. (Я думал, это потому, что Рощин на целый час опоздал на свою лекцию; за ним посылали товарища, и, как выяснилось, он забыл, что сегодня читает лекцию.) Я сказал ему и Аршинову, что лекция очень хороша, но язык, которым она излагалась перед аудиторией, ни к черту не годится. Рощин смеялся, а Аршинов как будто был недоволен этим моим замечанием.

Вскоре после этой лекции я попал в том же зале на лекции товарища Гордина. Он тоже показался мне с запасом знания анархизма, но незнанием того, что носители его идей должны делать во время революции, где они должны группировать свои силы. В общем же лекция Гордина мне понравилась, я этого не скрывал, а товарищ Аршинов назвал ее «мусором возле анархизма». Это мне, правду сказать, не нравилось.

Так протекали июньские дни моей жизни в Москве. Как-то Аршинов затянул меня к Александру Шапиро, который был в то время – если не ошибаюсь – хозяином издательства «Голос труда». В этом издательстве Аршинов издавал ряд книг П. А. Кропоткина. Как раз в этот момент в нем закончилась печатанием книга «Хлеб и воля». Аршинов разносил ее пачками по магазинам.

Товарищ Шапиро тоже произвел на меня впечатление опытного и делового товарища. Однако Шапиро еще до встречи моей с ним был мне известен как крайний синдикалист. Я над этим средством анархизма мало задумывался и продолжал по традиции считать его «меньшевистским» средством в анархизме. Поэтому я без особого интереса прислушивался к тому, что он говорил о некоторых вопросах с Аршиновым, и без особого же интереса отвечал ему, товарищу Шапиро, когда он спрашивал меня о том, как трудящиеся на Украине (по Шапиро – на Юге России) прониклись идеей революции? Какое сопротивление оказывали оккупационным немецким и австрийским контрреволюционным армиям и т. д.? Раза три я был вместе с Аршиновым у Шапиро, на складе «Голос труда». Раза два я заставал его одного с маленькой, казавшейся умненькой его дочуркой за работой. Оба раза, при виде Аршинова и меня, он бросал свою работу, подходил к нам и подолгу говорил. И, нужно сказать правду, оставил во мне хорошее впечатление. Но одна мысль о том, что он синдикалист, да еще правого пошиба, который с рядом своих единомышленников переехал вслед за центральной большевистской и левозеровской властью из Петрограда в Москву только потому, дескать, что *стремится представлять там какой-то центр* (слова чужие), одна эта мысль дробила и разрушала во мне то более или менее цельное впечатление о Шапиро, которое я вынес при встречах с ним.

Впоследствии я встречался еще с рядом анархистов из студентов, из которых наиболее яркой фигурой мне показался товарищ Саблин. С ним я часто встречался, много говорил. Он был особенно чуток и принимал близко к сердцу все те слабые стороны нашего движения, которые тормозят его рост и развитие. И глубоко верил, что все это скоро заметят все действующие анархические группы и вопрос будет выяснен и разрешен в пользу того, чтобы создать определенную организацию и жизненно усилить наше движение.

Однако я должен заметить, что все это и со всеми были беседы отрывочного характера, и только. Фактически не было таких людей, которые взялись бы за дело нашего движения и понесли бы его тяжесть до конца. Или если они и были, то, видимо, не хотели задумываться над катастрофическим положением нашего движения. Между тем его нельзя было не заметить с первых же дней, как только правящая орда большевиков разбила наше движение, объявив свое право сперва на чистку его рядов, а затем и на ликвидацию его боевых, не склонявших голов перед этой ордой сил. У меня, по крайней мере, сложилось такое

впечатление после того, как я встретился со многими товарищами и увидел, чем они занимаются в такой острый момент и для революции, и для нашего движения. Не знаю, сознавали ли все товарищи то, что большинство из них болталось в это время без дела. Я-то видел это отчетливо. Часто тот или другой товарищ, осевши в Москве на более или менее продолжительное время, шатался там совершенно праздно или же находил такое дело, которое посильна была выполнять только организация, а он за него брался лишь с целью показать, что он и вне организации работает, что он и вне организации проводит дело организации. Все это меня, силою контрреволюции оторванного от кипучей массовой революционной работы на Украине и очутившегося временно в Москве, убеждало в том, что я прав был, мысля о Москве как о центре «бумажной» революции, которая привлекает к себе всех, и социалистов, и анархистов, любящих особенно сильно в революции одно только дело: это много говорить, писать, и бывающих не прочь посоветовать массам, но на расстоянии, издали...

Правда, Аршинов мне не раз рассказывал, как товарищи из Московской федерации и известные революционные двинцы (двинский полк солдат под командой нашего товарища Грачева) сражались на улицах Москвы. Эти его рассказы не один раз вызывали во мне чувство гордости за московских анархистов и самого Грачева и всех двинцев. Однако и при этих рассказах я не раз задавал себе вопрос: почему же многие друзья и товарищи теперь, на мой взгляд, шатаются без дела?

Я не удовлетворялся даже той работой Аршинова в Союзе идейной пропаганды анархизма, которая мне была известна. Эта работа, как она товарищам ни представлялась важной и необходимой, казалась мне праздной – по крайней мере, в то время, когда я был в Москве. Дело это было на руках у Аршинова. Но многие, очень многие, считавшие себя работниками нашего движения, слонялись совершенно без дела. И это меня беспокоило. И это ставило передо мной вопрос: неужели же и я заражусь этим? Нет, отвечал я себе, никогда, ни за что! Разве не хватит сил, сделаюсь неспособным ходить, говорить с теми, кто может и хочет действовать в революции, растить и развивать в ней силы нашего движения, поднимать его положение в жизни и борьбе угнетенных, за свое освобождение, за освобождение всего своего класса, народа, человечества, – тогда не ручаюсь, быть может, придется опуститься до этого... Но пока я в силах ходить, общаться с угнетенными, я до этого не опущусь. Ведь цель нашего движения в революции так велика! Здесь есть место каждому из нас. Этого места не умеет найти только тот, кто растерялся перед торжеством враждебных нашему движению доктринерских партий – большевиков и левоэсеров, – тот, кто, благодаря своей духовной неопределенности и отсутствию твердой воли и практической организационной устойчивости не видит, где в действительности зарождаются здоровые силы для нашего движения. И я спешил при этом успокаивать себя надеждой на то, что я скоро и благополучно переберусь на Украину, где постараюсь сделать все для того, чтобы на деле показать всем друзьям бумажной революции, где надо искать живые и здоровые силы для нашего анархического движения. И чем глубже я погружался в этот вопрос, тем отчетливее сознавал, что старые методы анархистов, признававшиеся до этого дня, бессодержательны. И поэтому я решительно осуждал их, не думая ими пользоваться в будущей своей работе на Украине.

Здесь же, в Москве, я особенно остро почувствовал, как далеко ушел я с рядом своих друзей и товарищей по гуляйпольской группе анархо-коммунистов в понимании положительных задач нашего движения в революции от большинства анархистов, которые до сих пор встречались мне на моем пути по России. Это последнее явление меня беспокоило, но не обескураживало. Я был глубоко убежден, что разброду в наших рядах будет положен конец, что мы их выровняем, вооружим новыми, более содержательными методами и средствами борьбы и положение нашего движения улучшится. Это мое убеждение крепло в ожидании намеченной рядом товарищей из Одессы, Харькова и Екатеринослава конференции. Я был приглашен на нее за неделю ранее и ожидал от нее очень многого.

Глава XIV

Конференция анархистов в Москве в гостинице «Флоренция»

На конференции присутствовали ряд товарищей из Одессы во главе с товарищами Молчанским и Красным, Иуда Роцин (Гроссман), Аршинов, Борзенко Григорий, какая-то дама, гордившаяся тем, что была контрразведчицей от большевистско-левоэсеровского командования, что часто попадалась в руки контрреволюционному командованию, что умело все узнавала от последнего и привозила сведения в штаб революционного командования. Был еще и целый ряд товарищей поменьше, болтавших попусту много чепухи.

Все товарищи, присутствовавшие на этой конференции, особо почитали Иуду Гроссмана-Роцина. В него все верили, и в особенности товарищи из Одессы: Красный, Мекель и упомянутая дама. От него, Роцина, ожидали чего-то сверхнеобыкновенного на этой конференции.

Но Роцин оставался тем же бесшабашным, каким он, видимо, был много лет до этого времени. Он засыпал товарищей фразами, подчас обещая помочь нам всем, желающим очутиться на Украине в царстве гетманщины. Конечно, не все из присутствовавших на этой конференции думали о поездке на Украину и не все верили в его обещания. Это было очень заметно. Но те, кто верили, что большевистская власть снабдит их документами и деньгами на дорогу, те упивались его баснями. И лишь когда Красный поставил Роцину прямо вопрос, чтобы он пошел к кому следует из большевистских владык и раздобыл средства для бюро по отправке анархистов на Украину для подпольной работы против гетманщины (которое одесситы мечтали создать), и когда Гроссман-Роцин от этой миссии отказался, мотивируя свой отказ тем, что он не видит цели этого бюро, лишь тогда у знаменитых одесситов вера в Роцина несколько поблекла и потеряла свою выпуклость – по крайней мере, на то время, что длилась конференция.

После неудавшейся попытки прямых роцинцев использовать самого Роцина (а через него и большевистских владык, которые в то время чувствовали уже оппозицию себе со стороны левых социалистов-революционеров и действовали теперь в кое-каких делах на свой риск и страх) для дела, которое одесским анархистам во главе с Красным было более всего близко, ряд товарищей поставили перед конференцией общий вопрос: намереваясь пробраться на Украину для подпольной работы самостоятельно, не обращаясь к большевикам за материальной помощью, они хотят установить здесь, на конференции, определенный взгляд анархистов на то, какие методы борьбы наиболее целесообразны в нашей деятельности против реакции гетманщины, за низвержение последней?

По этому вопросу высказались почти все товарищи. Однако к определенному единому взгляду не пришли и ограничились лишь общим пожеланием быть бескомпромиссными в своей деятельности, идти в массы и воспитывать их в таком же духе...

Помню, когда мы оставили гостиницу «Флоренция», я шел по тротуару Тверской с Аршиновым и перебросился с ним несколькими словами о конференции. Он видел мое возмущение идеологическим разбродом и безответственным поведением одесситов, которые, на мой взгляд, определенно склонялись на путь лакейства перед большевиками. Аршинов, по натуре человек более сдержанный, чем я, не был так резок в своем мнении о роли одесситов *Красного* и *Мекеля* на этой конференции. Но в принципе он целиком разделял мое мнение об их поведении.

После этой нашей конференции я еще раз подчеркнул для себя неопровержимую правду о том, почему наше движение в первые дни революции так быстро увлекало за собою трудящихся, а с течением времени начинает слабеть и отпугивать их от себя. По-моему, все это происходит потому, записывал я для себя, что в нашем движении не выявлены положения об общественности. Наше движение не имеет в своем распоряжении тех средств, к которым борющиеся массы питали бы доверие, веря, что с их помощью они могут выйти в своей борьбе на открытый, свободный и независимый путь нового социально-общественного

строительства. Наше движение питается все еще чисто философскими принципами в своих подходах к массам и к их повседневной реальной борьбе. И поэтому при всем превосходстве его идей перед идеями государственного социализма оно бессильно убедить трудящиеся массы в том, что, поддерживая его, следуя за ним, они достигнут высшей, более свободной и счастливой формы организации для общественной и индивидуальной жизни.

Но значит ли это, что его нужно признать совсем неспособным справиться со своей исторической миссией в жизни и борьбе угнетенного трудового человечества? Безусловно, нет, таким признавать его нельзя. Оно слишком сильно и могуче уже и в наш век. И располагай оно достойными его цели социальными средствами для своих социальных действий, большая часть трудового человечества давным-давно признала бы его и усовершенствовала бы его методы борьбы... И оно явилось бы в жизни и борьбе трудящихся руководящей идеей, дающей вовремя и на все запросы дня точные ответы.

Увлекаясь этими мыслями, я, однако, отдавал себе отчет, что осуществлять эти мысли в практической борьбе в настоящее время нелегко, что для этого нужны силы, а их почти нет в России. При этом я неоднократно думал о П. А. Кропоткине. Думал: что же он, этот маститый вождь анархизма, делает теперь? О чем он думает? Неужели он не видит тех причин, которые делают анархизм бессильным выявить в действии, полно и отчетливо, перед трудовыми массами все то, чего он ищет в великой борьбе? Ведь не может же быть, чтобы этот великий борец, награжденный здоровым и сильным умом, борец, который всю свою жизнь проповедовал идею анархизма и боролся за права угнетенных, не может быть, чтобы он не думал об этом, не принимал никаких мер!..

Мысленно рассуждая так, я не раз говорил себе: «Пойду сейчас к нему, он на все исчерпывающе мне ответит». И потом спрашивал у Аршинова:

– Ты не знаешь, Кропоткин в Москве сейчас?

(Хотя я хорошо знал, что он в Москве.)

А когда получал от Аршинова утвердительный ответ, я находил почему-то неудобным идти к нему и продолжал мучительно терзать себя вопросами, на которые сам не мог дать исчерпывающих ответов.

Однажды, когда я проходил по одной из московских улиц вместе с Аршиновым (кажется, после разноски по магазинам вышедшей из печати книги «Хлеб и воля»), товарищ Аршинов мне говорит:

– Ты хотел побывать у Кропоткина. Вот здесь недалеко живет Кропоткин. Я советую тебе посетить его...

– С тобою, что ли? – спросил я Аршинова.

– Нет, я сейчас не собираюсь посещать его, но тебе советую; тем более ты уезжаешь в Екатеринославщину. Перед отъездом стоило бы посетить старика, поговорить с ним...

– Постараюсь зайти, – сказал я в ответ Аршинову и погрузился в размышления о том, с чем, с какими важными вопросами я зайду к старику беспокоить его. Вопросов было очень много. На четырех из них – на вопросе об отношении к оккупации немецко-австро-венгерскими армиями в союзе с Украинской Центральной Социалистической радой Украины, на роли в этой оккупации украинских революционеров и социал-демократов, возглавлявших раду, на отношении к сменившему в это время раду гетману Скоропадскому и, наконец, на анархических методах борьбы против всех этих видов контрреволюции – я сосредоточил свое внимание и собрался к дорогому нашему старику Петру Алексеевичу.

* * *

Я попал к нему накануне его переезда в Дмитров (под Москвой). Он принял меня нежно, как еще не принимал никто. И долго говорил со мною об украинских крестьянах...

На все поставленные мною ему вопросы я получил удовлетворительные ответы...

Когда я попросил у него совета насчет моего намерения пробраться на Украину для революционной деятельности среди крестьян, он категорически отказался советовать мне,

заявив:

– Этот вопрос связан с большим риском для вашей, товарищ, жизни, и только вы сами можете правильно его разрешить.

Лишь во время прощания он сказал мне:

– Нужно помнить, дорогой товарищ, что борьба не знает сентиментальностей. Самоотверженность, твердость духа и воли на пути к намеченной цели побеждают все...

Эти слова Петра Алексеевича я всегда помнил и помню. И когда нашим товарищам удастся полностью ознакомиться с моей деятельностью в русской революции на Украине, а затем в самостоятельной украинской революции, в авангарде которой революционная махновщина играла особо выдающуюся роль, они легко заметят в этой моей деятельности те черты самоотверженности, твердости духа и воли, о которых говорил мне Петр Алексеевич. Я хотел бы, чтобы этот завет помог им воспитать эти черты характера и в самих себе.

Глава XV

Всероссийский съезд текстильных профсоюзов

В июне под председательством Максима Горького открылся съезд текстильных профсоюзов.

Это съезд тружеников. Вопросы, которые будут разрешаться на нем, должны быть важны и для меня, думалось мне. И вместе с товарищами Аршиновым, Масловым и другими я пошел на его заседание, надеясь увидеть там и услышать виднейших социалистов.

Действительно, у стола президиума этого съезда сгруппировался лучший цвет проживавших в то время в центре бумажной революции социалистов. Они выступали один за другим, говорили, махали руками, кричали один сильнее и лучше другого. Лишь обиженный лидер центра социал-демократии, гражданин Мартов, который много и временами, помню, мне так казалось, неискренне, но дельно говорил, лишь он, этот непримиримый враг Ленина, как ни надувался выкрикнуть громче и сильнее, чтобы как можно ярче оттенить в своей речи то, что, видимо, считал самым важным, лишь он бессилён был кричать. Его хриплый голос не позволял ему сравняться с гораздо менее крупными и по мысли, и по ее выражению ораторами. Он махал руками, кряхтел, сопел, но остался мало услышанным, мало понятым, по крайней мере задними колоннами делегатов и простых посетителей съезда. Кроме того, специально большевиками мобилизованные свистуны своим демонстративным шумом и свистками мешали делегатам слушать этого маститого правоверного социал-демократа меньшевика. Правда, эта специально мобилизованная большевиками шайка демонстрантов мешала делегатам выслушивать не только социал-демократических меньшевистских ораторов, но и левозсеровских, и даже большевистских. По крайней мере, я был очевидцем того, как один из ораторов-большевиков (не помню точно его фамилию) выступил и уже чуть не на половине речи был заглушен свистком. Этот свисток имел большие шансы быть подхваченным и пополненным другими свистками, если бы свистун не был своевременно одернут и предупрежден (видимо, специальным руководителем шайки), что-де *«речь двигает наш, большевик!»*.

Все вопросы, какие съезд текстильных профсоюзов съехался обсудить, а также и решения по ним меня, крестьянина-революционера, и радовали, и в то же время угнетали.

Радовали они меня тем, что по ним я видел в пролетариях города понимание их трудовых интересов и целей, связанных с этими интересами. По ним можно было убедиться, что боевой фронт городских пролетариев растет, что намечаемые ими пути социальных достижений уже вполне могут быть предохранены от покушения на них со стороны новой государственной политической власти и что благодаря этому можно питать надежду, что революцию, столь во многом уже обкарнанную во имя государственности и в противовес свободной общественности двумя господствующими в стране политическими партиями, революционные пролетарии могут еще спасти.

Угнетало же меня в вопросах и решениях съезда то, что я не видел на нем выражения

прямой воли представленных здесь пролетариев. Мне лично казалось, что, хотя вопросы съезда и разрешались самими как будто пролетариями и именем их класса, кровно заинтересованного в них, они все-таки разрешались под влиянием воли и интересов политических партий, которые каждая по своему и в своих партийных интересах истолковывала перед пролетариями их цели и обязанности в смысле строительства социалистического государства, со всеми его многочисленными органами власти. А это резко отмежевывало всегда и отмежевывает теперь городских пролетариев от трудового, не эксплуатирующего чужого труда крестьянства, которое все определеннее и резче проявляет в своей практической жизни оппозицию к власти, к ее претензиям выдумывать и писать для него законы.

Без тесного сотрудничества с крестьянством властолюбивому городу и заражающему поневоле его властолюбием городскому пролетариату самому не построить новой свободной общественной жизни. Эта истина уже подтвердилась на опыте даже при условии, когда вместо строения подлинного социалистического общества строилось полусоциалистическое, полукапиталистическое государство, каким, в сущности, являлось под именем «государства диктатуры пролетариата» государство большевистско-левоэсеровского блока. Это государство взяло на себя руководство социально-общественным строительством, что не требовало от пролетариев ни самостоятельности и инициативы, ни здорового трезвого ума и соответственного организационного подхода к общественному делу. За них подходили к нему по рецепту буржуазного государства большевики и левые эсеры. Пролетариям же оставалось лишь выполнять то, что говорили большевики и левые эсеры.

И если даже при таком урезанном порядке вещей город без деревни не мог ничего широкого и плодотворного начать и с успехом закончить, то при подлинном и полном социалистическом строительстве городские пролетарии без прямого братского содружества с трудовым, не эксплуатирующим чужого труда крестьянством, засосутся омутом государственнических доктрин, которые крестьянство не признает, и в долгих муках недостатка самого главного – сырья и пищи – принуждены будут или во многом отказаться от государственности, или же пойти против крестьянства, извратить идеи социализма и предаться своему исконному врагу – буржуазии. Это во-первых.

Во-вторых, подчинение пролетариев как класса каким бы то ни было политическим партиям, которые никогда не имеют в виду подчинить свои политические цели экономическому освобождению пролетариев, отдает их, пролетариев, в распоряжение этих партий на самое позорное издевательство во всех отношениях: и в экономическом, и в политическом, и в моральном.

Отсюда в наиболее политически развращенных уже пролетариях зарождается мысль о борьбе не за полное экономическое и политическое освобождение их класса, а за смену ролей на пути политического господства одного класса над другим.

– Мы осуществили диктатуру пролетариата! – выкрикивали некоторые ораторы на съезде текстильных профсоюзов. – И мы вправе сказать врагам своим, чтобы они замолчали, ибо воля пролетариата их сокрушит...

Видимо, эти безответственные крикуны, а с ними и их соперники – пролетарии с мест и не думали о том, что созданием этой диктатуры они разбивали единство своего классового трудового организма на пользу не революции, а врагам ее. Они не думали о том, что в недалеком будущем им самим придется бороться против подобного распыления трудовых сил. На это их толкнет само существо власти – «диктатуры пролетариата», которую они по своему невежеству создали и против которой, можно ожидать, окажутся долгое время бессильными бороться реальными средствами, чтобы заменить ее чем-то другим, более соответствующим, которое отвечало бы идеям трудящихся, этого авангарда человечества, который создал все богатства мира и должен ими пользоваться свободно, и в зависимости от потребностей, а не затрачивать снова своих сил на то, чтобы оплатить их еще дороже.

Правда, политические партии, восторжествовавшие в русской революции, над этим менее всего задумывались. Политическая государственная власть, это юродивое

шарлатанство, в котором вожди государственного социализма видят средство избавления угнетенных от экономического рабства, была в их руках. Они строили, согласно принципам своей власти, программы борьбы и жизни для тружеников, указывая последним, что, следуя только их программам, можно отыскать, понять и устранить причины рабства, нашедшего себе место в их жизни. Городские пролетарии первые бросались в объятия власти этих программ, первые стремились реализовать их в своей жизни и властвовать, управлять, согласно этим программам, своими братьями по труду – крестьянами.

Отсюда начало развиваться в более отчетливом виде то историческое недоверие крестьян к городским пролетариям, которое нам известно на протяжении всей истории. А это усиливающееся недоверие ставило под прямую угрозу Великую Русскую Революцию и все те прямые завоевания трудящихся, которыми последние начинали жить.

Таково было положение Великой Русской Революции в июньские дни 1918 года. Спрашивается, сознавали ли это положение создавшие его партии? Можно с уверенностью ответить, что нет: они его не сознавали и продолжали свою грызню из-за своего партийного престижа в трудовых массах. Лишь часть городских пролетариев и трудовое крестьянство под влиянием анархических идей спохватились, что их обманули, что за их счет правящие партии перевели революцию с пути ее прямого действия на путь правительственных декретов и этим загнали ее в тупик. Они, эти труженики, требовали простора для революции. Но их голос заглушался окриком Вильгельма Второго, который через своего посланника Мирбаха ставил препятствие развитию русской революции, угрожая и ей, и тем, кого пролетарии деревни и города по своей наивности допустили управлять ее судьбами. И партия большевиков-коммунистов во главе с Лениным и Троцким, которая в это время фактически уже брала перевес над партией левых эсеров, предпочла пойти на уступки Вильгельму II, чем поднять выше знамя революции или по крайней мере не мешать пролетариям, заметившим, что оно поникло до земли и топчется, поднять его.

Правда, это предательское поведение партии большевиков по отношению к революции раздвинуло окончательно в большевистско-левоэсеровском блоке трещину, которая с резкой определенностью наметилась уже 3 марта 1918 года, в день заключения Брестского договора. Но, благодаря «мудрости» и особенному политическому влиянию Ленина, эта трещина искусственно склеивалась, сжималась и временами, казалось, становилась почти незаметною.

Теперь эта трещина раздвинулась окончательно, и «мудрость» Ленина становилась бессильной повлиять на главарей партии левых эсеров, чтобы еще раз склеить ее. Левые эсеры устыдились своего лакейства перед Лениным, который раньше никогда не имел такого авторитета среди российских тружеников и интеллигенции, какой имела их мать – старая, революционно-боевая партия социалистов-революционеров, мать, убитая провокатором Азефом. Теперь сироты этой матери – левые эсеры – готовы были на все, но не на то, чтобы идти за Лениным или, что еще хуже, обезличить себя в истории русской революции. Нет, они попытаются поравняться с Лениным и посчитаться с самим «ленинизмом». По крайней мере, мне это так казалось, когда я прислушивался к голосу большевистских ораторов, которые уже не скрывали того, что левые эсеры готовятся дать им бой по всем вопросам внешней политики на предстоящем V Всероссийском съезде Советов. Хотя я должен признаться, у левых эсеров шансов на успех этого боя, по-моему, не было, потому что у них не было, кроме двух-трех человек, людей, подготовленных, ну, скажем, на посты Ленина и Троцкого, заменить которых ни Спиридоновой, ни Камковым, ни тем более Штейнбергом, ни даже Устиновым, имевшим до некоторой степени ленинскую практику, в то время нельзя было. Правда, эта партия за время своего блокирования с большевиками сумела воспитать и выдвинуть из числа своих членов под идейным и практическим руководством большевика Ф. Дзержинского кадры чекистов; и такие из них, как Закс и Александров, были хорошими головами. Но разве из людей, заразившихся аракчеевской полицейщиной, могут выйти серьезные политики, какие нужны были в это время левоэсеровскому государству? Я думаю, что если этого не могли понять некоторые горячие головы среди главарей левоэсеровщины,

то это понимали в ее же рядах люди с более спокойными нервами и с более трезвым умом. Эти люди, я думаю, способны были так же искренне и честно, как М. Спиридонова и Б. Камков, отстаивать против узурпации большевиков права трудящегося, угнетенного народа. Так же как Спиридонова и Камков, они могли жертвовать своим личным благополучием, даже самими собой ради лучшей жизни этого народа, но только не с такой нервозностью, не с таким до истеричности пафосом, какими обладали эти два в своем роде вождя левоэсеровщины, когда они блокировались с большевизмом-ленинизмом, когда они примкнули к управлению революционной страной, злоупотребляя доверием страны, попирая во многих случаях права революционных трудовых масс на свое свободное, трудовое и независимое от государства с его полицейщиной самоопределение.

Правда, левые эсеры не признают таким уж гнусным свое поведение по отношению революционных масс, придерживавшихся анархических идей в русле русской революции. Как говорят некоторые из них, они не признали за большевистскими лидерами – Лениным и Троцким – права на разгром 12–13 апреля 1918 года Федерации московских анархических групп, о котором знаменитый в своем роде левоэсеровский чекист Закс по долгу своей роли в чека и партии делал ЦК партии доклад. Говорят, что Спиридонова не желала даже слушать этот доклад и якобы с возмущением покинула зал, где ЦК партии его заслушивал. Но мы хорошо знаем, что *возмущаться* – это одно, а *действовать* в согласии со своим возмущением против акта несправедливости – совсем другое. Этого действия против величайшего злодеяния чекистов и главарей партии большевиков по отношению к анархистам со стороны левых эсеров не было потому ли, что возмущение М. Спиридоновой было слабо сравнительно с другими ее возмущениями, или же потому, что левые эсеры из ЦК партии того времени, упиваясь надеждами низвергнуть большевиков и стать непосредственно у кормила власти, считали для себя удобнее официально скрыть это возмущение и перед большевиками, и перед революционной страной. И они замяли свой протест против палачей, поправших свободу и права анархистов на деятельность в революции. А между тем анархисты были наипреданнейшими сынами этой революции. Они шли всюду в ее авангарде. Правда, шли они раздробленными рядами, но первыми и честно отдавая ей эти свои раздробленные силы. Судить анархистов по тем одиночкам, которые попадали в ряды анархизма с корыстной целью и вместо работы среди трудящихся для общего дела освобождения разъезжали по стране из города в город, ничего не делая, – судить по этим одиночкам анархизм и анархистов было нельзя. И если большевистские лидеры прибегали к такой аргументации против анархистов, а левые эсеры с определенной целью обошли этот акт своих союзников молчанием, то виною в этом является та традиционная безответственность и лживость большевиков, которые ведут свое начало еще от Карла Маркса в его борьбе с Бакуниным. Хотя эти черты и известны были левым эсерам, но о них последние по «долгу» блокирования с большевиками напоминать, видимо, не могли. Не могли они говорить большевикам, чтобы они устыдились лгать на своих идейных противников и чтобы сознались, что эта ложь по отношению анархистов не может быть полезной для революции. По-видимому, лидеры партии левых эсеров думали по низвержении большевиков, по провозглашении и утверждении себя у власти над страной и над ее дальнейшим революционным развитием разобраться в этом исторически и фактически столь важном для дела революции вопросе... Но это только наше предположение, не более.

Глава XVI

В крестьянской секции ВЦИКа советов

Как только я приехал в Москву и попал на временное жительство в отель, который находился в распоряжении коменданта от крестьянской секции ВЦИКа Советов, я заинтересовался этой секцией и ее президиумом, во главе которого стояла лидерша левоэсеровщины М. Спиридонова. Ее, как заслуженного революционера, я считал важным увидеть лично, услышать непосредственно. И я посещал заседания этой крестьянской

секции. На этих заседаниях я много раз слышал М. Спиридонову и Б. Камкова. Из левых эсеров я этими двумя фигурами *больше* всего интересовался. Они были наиболее популярны в рядах левоэсеровщины в тот период. Правда, бывали там иногда и другие столпы левоэсеровщины, но они широкой массе трудящихся были менее известны. Они были менее воодушевлены и менее привлекательны. Во всяком случае, имена Спиридоновой и Камкова произносились массами всюду с явным чувством уважения к ним. Казалось, они были первыми среди равных главков левоэсеровской партии.

На многочисленных заседаниях крестьянской секции ВЦИКа Советов Спиридонова проявляла свою яркую волю и знание задач своей партии. Все ее выступления с особой четкостью выявляли задачи партии на предстоящем V Всероссийском съезде Советов. Ее выступления всегда наполняли зал заседания каким-то радостным чувством для революционера, болевшего за судьбу революции. В них всегда можно было уловить, что левые эсеры почувствовали свои промахи и ошибку своего блока с большевиками, что они не сегодня завтра круто повернут в сторону углубления и расширения революции. А в этом направлении они были бы поддержаны анархистами-коммунистами и синдикалистами, ибо такое направление было бы родственным тем целям, которые преследовались авангардом революционного трудового народа, жаждавшим революции, хотевшим ее и вынесшим ее на своих плечах.

Однако я относился осторожно к впечатлению, что левые эсеры опомнились. Мне казалось, что вообще-то они, как и большевики, менее всего думали о своих первоначальных промахах на пути революции, промахах, которые положили начало их преступлениям по отношению к последней. Все они не хотели считаться с тем, что революция в селе проявляла себя в явно антигосударственном духе. Они, как и большевики, не брезгуя нарушением доброй воли крестьянства, уродовали этот дух революции на селе во имя идеи государственности и всех вытекающих из нее властных институтов. Кроме же того, цели политических партий во многих случаях бывают чуждыми целям трудящихся. Это особо ярко показали большевики и левые эсеры, придя к государственной политической власти над страной по низвержении керенщины. Всего этого я не мог не замечать в жизни и борьбе трудового крестьянства, находясь в его революционном авангарде. И это ставило передо мной вопрос: смогут ли левые эсеры пойти настолько далеко в своей оппозиции большевикам, что мои впечатления об их готовности посчитаться с ленинизмом оправдаются целиком? А если бы так случилось, то станут ли левые эсеры на верный путь революции: не мешать трудящимся углублять и развивать революцию без указов и приказов левоэсеровской власти, которую эти люди будут стараться навязать трудящимся. Ибо без нее они не могут быть эсерами. На этот вопрос я отвечал: нет. У левых эсеров, как и у нас, анархистов, хороших желаний очень много, но очень мало тех сил, которые оказались бы достаточными на такое грандиозное дело, как реорганизация пути революции. Оставаться же на том пути, по которому левые эсеры шли до сих пор вместе с большевиками, им нельзя: они и пять дней не продержатся на нем; большевики разобьют их одним авторитетом Ленина и Троцкого, укреплению которого в массах левые эсеры до сих пор содействовали столько же, сколько ему содействовали сами большевики.

— Ну а если допустить, — рассуждал я однажды с товарищем Масловым, — что левые эсеры окажутся настолько в большинстве на V съезде Советов, что провалят большевиков с их политической ориентацией на «передышку», то неужели анархисты что-либо выиграют от этого? Конечно нет, и вот почему. Первое. Спор между левыми эсерами, по-моему, не есть спор о глубоком, основном идейном расхождении по тем или иным вопросам политики управления революционной страной. Глубокой сущностью этого спора между ними, отмечал я тогда, является то обстоятельство, что большевики по всему фронту Советской власти начали заметно брать перевес над левыми эсерами. Этот факт, с одной стороны, подбодрил большевиков на то, чтобы не считаться с протестом партии левых эсеров против заключения Брестского договора. А с другой стороны, перед большевиками реально встал вопрос о том, чтобы как можно скорее и полностью развернуть свой авторитет над трудовой

революционной страной, а затем заявить левым эсерам, что-де они, большевики, являются полными господами политического и социального положения в стране, а потому им, левым эсерам, ничего не остается делать, как только влиться в партию большевиков-коммунистов и заняться более решительно экспериментом «научного» государственного социализма-коммунизма. Или же нам, мол, с вами не по дороге.

Такова была, по-моему, политическая ориентация большевиков по отношению к своим соратникам в борьбе за захват государственной власти. Партия левых эсеров не могла не замечать этого намерения партии большевиков-коммунистов. Она его и замечала. Однако она сознавала, что фактически уже бессильна противостоять большевикам. Она видела, что позорный Брестский договор фактически входит в силу. Другой, более сильной аргументации против большевиков у нее не было. И это приближало ее как партию, мечтавшую играть историческое первенство в окончательном решении судеб русской революции, к неминуемому разрыву с большевиками. Вот почему она, эта партия, метала гром и молнии против Брестского договора даже тогда, когда он уже был подписан. Она стремилась теперь как можно тщательнее затушевать то, что неминуемый разрыв с большевиками у нее должен произойти в силу полного господства большевиков во всех государственных и профессиональных учреждениях, господства, повелительно требующего от диктаторствующей большевистской партии полной и единой ее воли по всему фронту государственной власти. Для партии левых эсеров было несравненно выгоднее показать, будто этот назревавший разрыв с большевиками происходит отнюдь не по причине того, что большевики, окрепшие за счет левых эсеров и вообще революционеров, взяли перевес над ними и теперь, не нуждаясь больше в них как в самостоятельных социально-политических силах революции, стараются всосать их в свою партию или просто ликвидировать. И партия левых эсеров решила оказать этим замыслам большевиков решительное сопротивление, вплоть до провозглашения их контрреволюцией. Это чувствовалось в речах и просто беседах левых эсеров – руководителей крестьянской секции ВЦИКа Советов. Так дело понималось и мною лично, и рядовыми эсерами. Событие ожидалось многими с особым напряжением нервов. Бесцеремонная позиция большевиков, которую последние, в связи со своим явным партийным торжеством над эсерами в деле их обоюдного властвования над революционной страной, уже не скрывали, выявляя ее все ясней и понятней для масс и для неправившейся с делом организации масс партии левых эсеров, эта позиция большевиков, обольщенных властью и ее безответственным хозяйничаньем уже не только над безымянной, слепо им доверившейся массой, но и над массой, большевикам не доверившейся, над массой, осознававшей себя и объединявшейся под знаменем других революционных партий и организаций, – эта позиция тревожила, заставляла нервничать каждого революционера, и партию левых эсеров в особенности, потому что она начинала понимать, что недооценила своих сил и государственных организационных способностей, на основе коих она мечтала и революцию «спасти», и партию большевиков оборвать, дав ей почувствовать, что она одна, без блока с нею (с левоэсеровской партией), не справится с революцией, что революция высвободится из-под ее власти... А если революция действительно высвободится из-под власти, то это для социалистов-государственников (и большевиков-коммунистов и левых эсеров), почти уже оседлавших революцию, будет прямым историческим позором...

Но партия большевиков уже настолько опьянела от своей фактической и формальной государственной власти в стране, что и подумать о чем-либо, связанном с левоэсеровским политическим беснованием, не находила времени. Она все решительнее толкала свои силы и связанные с ними трудовые массы на то, чтобы целиком и полностью перейти на свой собственный путь, который в ее партийном представлении понимался как путь создания прочного «пролетарского» государства с такой же прочной «пролетарской» властью во главе.

Все то, что я услышал в Москве, за чем наблюдал и в наших анархических рядах, и в рядах социалистов, большевиков-коммунистов и левых социалистов-революционеров, все это меня, вовсе не интересовавшегося «правом» тех или других на власть, считавшего

спасение революции первым и важнейшим делом в этой реакционной обстановке, которая в силу нашей дезорганизованности не позволяла анархизму ставить решительные ультимативные условия зарывавшемуся большевизму, – все это, говорю, меня угнетало подчас так тяжело, что я собирался прекратить все свои наблюдения, все свои знакомства с людьми и их делами и уехать без всяких документов на Украину, поближе к Гуляйполю раньше, чем это было условлено с товарищами на нашей таганрогской конференции. Подчас казалось, что все революционные завоевания народа гибнут по вине самого же народа и что помешать этому процессу окончательно развиться уже поздно. Кроме того, я заметил, что комендант отеля, наш товарищ Бурцев, начинал тяготиться нашим проживанием у него. Это обстоятельство поставило передо мной задачу: использовать мои официальные документы и достать бесплатную комнату от Московского Совета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов. Я пошел в Совет. Однако в Моссовете мне дали только пропуск в Кремль, во ВЦИК Советов, где я должен-де предъявить свои документы, и уже тогда ВЦИК Советов сделает на них свою отметку, по которой Московский Совет может дать мне ордер на занятие бесплатной комнаты.

Глава XVII

Кремль, Свердлов и моя беседа с ним

Я подошел к воротам Кремля с определенным намерением: во что бы то ни стало повидаться с Лениным и по возможности с Свердловым, поговорить с ними.

У ворот, ведущих в Кремль, дежурная комнатуха. В ней сидит доверенное лицо, которое по предъявлении документа-ордера из Московского Совета осматривает его, прилагает к нему свой маленький ордерок и отпускает желающего пройти в Кремль. Тут же сбоку этой комнатухи прохаживается часовой-красноармеец из латышского стрелкового полка. Проходишь мимо этого часового при входе из ворот во двор Кремля и натыкаешься на другого часового. Можешь спросить его, в какой корпус ты хочешь пройти, он тебе укажет. А далее хочешь, ходи по двору и осматривай разнокалиберные пушки и ядра к ним допетровских и петровских времен, Царь-колокол и другие достопримечательности, о которых ты мог только слышать, но до входа во двор Кремля ты их не видел, или же иди в дворцы-палаты.

При входе во двор Кремля я повернул влево, прямо во дворец (не помню его названия), поднялся по трапу, кажется, на второй этаж и по коридору этого этажа пошел влево, не встречая ни одного человека и лишь читая на одних дверях – «ЦК партии» (коммунистов-большевиков), на других – «Библиотека» (не узнал, какая). И так как ни «ЦК партии», ни «Библиотека» мне в это время не были нужны, то я прошел мимо них, неуверенный даже в том, что за дверями с этими надписями кто-либо был.

Проходя далее по тихому длинному коридору, я встречал еще какие-то надписи на дверях, но все они не говорили мне ничего о тех, к кому я пришел. Я повернул назад и, дойдя до двери с надписью «ЦК партии», постучал в нее. Раздался голос: «Войдите». И я вошел. В комнате сидело три человека. Один из них мне показался Загорским, которого я всего два или три дня назад видел в одном из большевистских партийных клубов. К ним, этим сидевшим в гробовой тишине за какой-то работой трем людям, я и обратился с просьбой показать мне, где помещается ВЦИК Советов.

Один из них (если не ошибаюсь, Бухарин) вскочил и, взяв под руку портфель, сказал, обращаясь к своим товарищам, но так, чтобы и я слышал:

– Я сейчас уйду и этому товарищу, – показывая на меня кивком головы, – покажу, где ВЦИК.

И в ту же минуту направился к двери. Я поблагодарил их всех и вышел вместе с казавшимся мне Бухариным в коридор, в котором по-прежнему царил гробовая тишина.

Мой проводник спросил меня, откуда я приехал. Я ответил ему: из Украины. Он очень заинтересовался тем, какой террор царит на Украине и как я пробрался в Москву. При этом

мы уже не шли, а стояли у ступеней, по которым я поднимался в этот коридор.

Затем мой случайный проводник указал мне на дверь по правую сторону от входа в этот коридор, за которой я, по его словам, мог узнать все, что касается ВЦИКа, и, попрощавшись, спустился вниз, к выходу из дворца во двор.

Я пошел к указанной мне двери. Постучал. Вошел. Меня встретила девица. Спросила, что мне нужно.

– Я хочу видеть председателя Исполнительного Комитета Совета рабочих, крестьянских, солдатских и казачьих депутатов товарища Свердлова, – ответил я на вопрос девицы.

Девица, ничего мне не говоря, села за письменный стол. Затем взяла мой документ и пропуск в Кремль, кое-что выписала из них, написала мне карточку и указала номер другой двери, куда я должен зайти.

Там, куда меня направила барышня по особому пропуску, помещался секретарь ВЦИКа Советов – крупный мужчина, видно выхоленный, но с изнуренным лицом. Он спросил меня, что мне нужно. Я пояснил. Тогда он попросил бумаги, удостоверения. Я дал. Мои бумаги его заинтересовали. Он переспросил меня:

– Так вы, товарищ, с Юга России?

– Да, я из Украины, – ответил я ему.

– Вы председатель Комитета защиты революции времен Керенского?

– Да.

– Значит, вы – социалист-революционер? Я отвечаю:

– Нет.

– Какие связи имеете или имели от партии коммунистов вашей области?

– Я имею личные связи с рядом работников партии большевиков, – ответил я ему.

И тут же назвал председателя Александровского ревкома товарища Михайлевича и кое-кого из Екатеринослава.

Секретарь замолк на минуту, а затем принялся расспрашивать меня о настроении крестьян на Юге России, о том, как крестьяне отнеслись к немецким армиям и отрядам Центральной рады, каково отношение их к Советской власти и т. п.

Бегло я ему ответил и видел, что секретарь был доволен; а я лично жалел, что не мог распространяться с ним на эту тему.

Затем он позвонил куда-то по телефону и тут же предложил мне пройти в кабинет председателя ВЦИКа товарища Свердлова.

Это напомнило мне легенду и контрреволюционеров, и революционеров, и даже моих друзей– противников политики Ленина, Свердлова и Троцкого, распускавших слухи, что к этим в своем роде земным богам добраться недоступно. Они окружены, дескать, большой охраной, начальники которой на свое лишь усмотрение допускают к ним посетителей, и, следовательно, простым смертным к богам этим не дойти.

Теперь я остро почувствовал вздорность этих слухов и свободно подходил к двери кабинета Свердлова. Последний сам открыл нам дверь и с мягкой, казалось, товарищеской улыбкой подал мне руку и провел меня к креслу.

Секретарь вернулся в свой кабинет.

Товарищ Свердлов показался мне несколько бодрее, чем его секретарь. Мне показалось также, что он глубже заинтересовался тем, что в действительности происходило на Украине за последние два-три месяца. Он сразу выпалил мне:

– Товарищ, вы с нашего бурного Юга; вы чем там занимались?

– Тем, чем занимались широкие массы революционных тружеников украинской деревни. Трудовая украинская деревня, приняв живое, непосредственное участие в революции, стремилась к полному своему освобождению. В ее передовых рядах я, можно сказать, был всегда первым на этом пути. Лишь теперь, в силу поражения и отступления общего революционного фронта из Украины, я очутился временно здесь.

– Что вы, товарищ, говорите, – перебил меня Свердлов, – ведь крестьяне на Юге в

большинстве своем кулаки и сторонники Центральной рады.

Я рассмеялся и не слишком распространенно, но выпукло нарисовал ему действия организованного анархистами крестьянства в Гуляйпольском районе против нашествия немецко-австро-венгерских экспедиционных армий и отрядов Центральной рады.

Товарищ Свердлов, как будто и поколебленный, не переставал, однако, твердить:

– Почему же они не поддерживали наших красногвардейских отрядов? У нас есть сведения, что южное крестьянство заражено крайним украинским шовинизмом и всюду встречало экспедиционные немецкие войска и отряды Центральной рады с особенной радостью, как своих освободителей.

Я начал нервничать и горячо осуждать их сведения об украинской деревне. Я сознался ему, Свердлову, что сам являюсь организатором и руководителем ряда крестьянских вольных батальонов для революционной борьбы против немцев и Центральной рады и что я знаю, крестьянство могло бы выделить из себя могущественную революционную армию против немцев и Центральной рады, но оно не видело боевого фронта революции. В красногвардейские отряды, которые вели борьбу по линиям железных дорог, всегда держась своих эшелонов и при первом же неудачном бое не всегда даже грузившихся в эти эшелоны, а отступавших на десятки верст, не видя противника (движется он по их следам или остановился), – в эти отряды крестьянство не верило, ибо сознавало, что, будучи без оружия, оно останется само одиноким в своих селах на растерзание палачам революции. Красногвардейские отряды свои эшелоны не бросят в 10–20 верстах от деревни, чтобы прийти в нее и не только вооружить и, подбодрив, толкнуть крестьян на революционный подвиг, в бой против вооруженных врагов революции, но и самим пойти вместе с ними на этот подвиг...

Свердлов слушал меня с особым вниманием и лишь время от времени переспрашивал меня:

– Да неужели же это так?

Я указал ему на ряд красногвардейских отрядов из групп Богданова, Свирского, Саблина и других, указал в более спокойном тоне на то, что красногвардейские отряды, будучи прикреплены к путям железных дорог, к эшелонам, при помощи которых они привыкли быстро наступать, но чаще всего отступали от противника, не могли внушать серьезного доверия к себе со стороны крестьянской массы. А сама эта масса видела в революции средство избавления себя от гнета не только помещика и богатея-кулака, но и от слуги этих последних – власти политического и административного чиновника сверху и поэтому совершенно сознательно была готова защищать себя, защищать свои завоевания от казни и разрушения их немецким юнкерством и гетманщиной.

– Да, да, на счет красногвардейских отрядов вы, пожалуй, правы... Но мы их уже реорганизовали в Красную Армию. Теперь у нас растет могучая Красная Армия, и если южное крестьянство так революционно, как вы мне его представили, то мы имеем большие шансы на то, что немцы будут разбиты, гетман низвергнут в самом недалеком будущем и власть Советов на местах восторжествует и там, на Украине, – сказал мне Свердлов.

– Это будет зависеть от того, какая подпольная работа будет вестись там. Я лично считаю, что теперь больше, чем когда-либо, там нужна подпольная работа революционеров, работа главным образом организационная, боевого характера, которая помогла бы массам выйти на путь открытого восстания по городам и деревням против немцев и гетмана. Без восстания чисто революционного характера внутри Украины нельзя немцев и австрийцев заставить отступить из Украины, а гетмана и гетманцев пленить или заставить бежать вслед за немцами и австрийцами. Наступление Красной Армии немыслимо в силу Брестского договора и тех условий чисто политического характера, которыми наша революция окружена извне.

Когда я все это говорил товарищу Свердлову, он делал какие-то отметки для себя, говоря мне:

– Вашу точку зрения в данном случае я целиком разделяю. Но скажите мне, кто вы

такой, коммунист или левый эсер? О том, что вы украинец, видно из вашего разговора, а к какой из этих двух партий принадлежите, нельзя понять.

Этот вопрос меня если и не смутил (потому что секретарь ВЦИКа мне его уже задавал), то, во всяком случае, поставил в затруднительное положение. Передо мной встал тоже вопрос: Как быть? Сказать ему, Свердлову, прямо, что я – анархист-коммунист, товарищ и друг тех, чьи организации его друзья по управлению революционной страной и по партии разрушили всего два месяца тому назад в Москве и в ряде других городов, или скрыться под другим флагом?

Я боролся с самим собой, и это было заметно для Свердлова. Открыть свою социально-революционную и политическую принадлежность в середине разговора я не хотел. А скрываться под другим флагом мне было противно. Поэтому я, после некоторого раздумья сказал Свердлову:

– Почему вас так интересует моя партийная принадлежность? Разве вам недостаточно моих документов, удостоверяющих, кто я, откуда и какую роль играл в известном районе в организации тружеников деревни и города, в организации их боевых отрядов и вольных батальонов против контрреволюции, разгуливающей на Украине?

Товарищ Свердлов извинился передо мной, просил меня не подозревать его в неревolutionной чести и недоверии ко мне. Извинение его показалось настолько искренним, что я почувствовал себя нехорошо и без всяких дальнейших колебаний заявил ему, что я – анархист-коммунист бакунинско-кропоткинского толку.

– Да какой же вы анархист-коммунист, товарищ, когда вы признаете организацию трудовых масс и руководство ими в борьбе с властью капитала?! Для меня это совсем непонятно! – воскликнул Свердлов, товарищески улыбаясь.

На это удивление председателя ВЦИКа я ответил коротко:

– Анархизм, – сказал я ему, – идеал слишком реальный, чтобы не понимать современности и тех событий, в которых так или иначе участие его носителей заметно, чтобы не учесть того, куда ему нужно направить свои действия и с помощью каких средств...

– Так-то так, но ведь вы же совсем не похожи на анархистов, которые здесь (в Москве) осели было на Малой Дмитровке, – сказал мне Свердлов и хотел рассказать мне что-то об анархистах из Малой Дмитровки, но я заметил ему:

– Разгром вашей партией анархистов на Малой Дмитровке следует считать печальным явлением, которого в дальнейшем нужно избегать хотя бы во имя революции...

Свердлов несколько раз буркнул что-то себе под нос, а затем быстро поднялся со своего кресла, подошел ко мне, взял меня за плечо и, полунагибаясь, сказал мне:

– Знаете что, товарищ, вы очень многое знаете о нашем общем отступлении из Украины и в особенности о действительном настроении крестьян. Ильич, или товарищ Ленин, выслушал бы вас с особым вниманием и был бы доволен этим. Хотите, я позвоню ему?

Я ответил, что больше того, о чем я говорил с ним, я вряд ли скажу и Ленину, но Свердлов уже позвонил по телефону к Ленину и сообщил ему, что он имеет у себя товарища, который привез весьма важные сведения о крестьянах на Юге России и их отношении к немецким экспедиционным армиям. И тут же уговаривался, когда можно будет зайти к нему.

А через минуту Свердлов положил трубку и быстро написал мне, за личной своей подписью, пропуск к себе. Вручая мне этот пропуск, он сказал:

– Товарищ, завтра в час дня зайдите прямо сюда, ко мне, и мы пройдем к товарищу Ленину... Смотрите, непременно зайдите.

– Я зайду... Но как же с тем, чтобы достать от секретариата ВЦИКа бумагу в Московский Совет, чтобы указали мне временную и бесплатную квартиру? В противном случае я принужден буду ночевать где-нибудь в сквере на лавке, – спросил я Свердлова.

– Все устроим завтра, – ответил он мне. И я, распрощавшись с ним, вышел из царских палат во двор Кремля, снова обошел круг лежавших под стенами ядер и пушек, бросил

лишний раз свой взор на Царь-пушку и покинул Кремль. До завтра...

Теперь я не пошел в номера, принадлежавшие крестьянской секции ВЦИКа Советов, где заведующим был однопроцессник Аршинова Бурцев, который многих, в том числе и Аршинова, приютил возле себя и постепенно начинал тяготиться ими. Я пошел к заведующему Домом профсоюзов, к анархисту Маслову.

Будучи знаком с Масловым по каторге, я заявил ему, что, не имея сейчас где ночевать, я останусь на ночь-две у него.

Маслов не возражал мне, и я остался у него.

Сверх ожиданий Маслов оказал мне особое гостеприимство, несмотря на мое издевательство над его своеобразным индивидуализмом, поставившим его вне всяких более или менее серьезных товарищеских связей со своими бывшими товарищами по старой московской организации анархистов-коммунистов.

Глава XVIII

Моя встреча и разговор с Лениным

На другой день ровно в час дня я был опять в Кремле, у председателя Всероссийского Центрального Комитета Советов рабочих, крестьянских и солдатских депутатов товарища Свердлова. Он провел меня к Ленину. Последний встретил меня по-отцовски и одной рукой взял за руку, другой, слегка касаясь моего плеча, усадил в кресло. Затем попросил Свердлова сесть, а сам прошелся к своему, по-видимому, секретарю или переписчику и сказал ему: «Вы, пожалуйста, закончите это к двум часам», – и лишь тогда сел против меня и начал расспрашивать.

Первое: из каких я местностей?.. Затем: как крестьяне этих местностей восприняли лозунг «Вся власть Советам на местах!» и как реагировали на действия врагов этого лозунга вообще и Украинской Центральной рады в частности? И бунтовались ли крестьяне моих местностей против нашествия контрреволюционных немецких и австрийских армий?.. Если да, то чего недоставало, чтобы крестьянские бунты вылились в повсеместные восстания и не слились с красногвардейскими отрядами, с таким мужеством защищавшими наши общие революционные достижения?..

На все эти вопросы я отвечал Ленину кратко. Ленин же со свойственным организатору и руководителю умением старался так обставлять свои вопросы, чтобы я как можно подробнее на них останавливался. Так, например, на вопрос, как крестьяне тех местностей, откуда я, воспринимали лозунг «Вся власть Советам на местах!», Ленин переспрашивал меня три раза, и все три раза удивлялся тому, что я говорил ему, а именно, что этот лозунг крестьянами воспринят своеобразно: власть Советов на местах – это по-крестьянски значит, что вся власть и во всем должна отождествляться непосредственно с сознанием и волей самих трудящихся; что сельские, волостные или районные Советы рабоче-крестьянских депутатов есть не более и не менее как единицы революционного группирования и хозяйственного самоуправления на пути жизни и борьбы трудящихся с буржуазией и ее прихвостнями – правыми социалистами и их коалиционной властью...

– Думаете ли вы, что это понимание крестьянами нашего лозунга «Вся власть Советам на местах!» – правильное понимание? – спросил меня Ленин.

Я ответил:

– Да.

– В таком случае крестьянство из ваших местностей заражено анархизмом, – добавил Ленин.

– А разве это плохо? – спросил я его.

– Я этого не хочу сказать. Наоборот, это было бы отрадно, так как это ускорило бы победу коммунизма над капитализмом и его властью.

– Для меня это лестно, – сказал я Ленину, полуусмехаясь.

– Нет, нет, я серьезно утверждаю, что такое явление в жизни крестьянства ускорило бы

победу коммунизма над капитализмом, – повторил мне Ленин и добавил: – Но я только думаю, что это явление в крестьянстве неестественно: оно занесено в его среду анархистскими пропагандистами и может быть скоро изжито. Я готов допустить, что это настроение, будучи неорганизованным и подпав под удары восторжествовавшей контрреволюции, уже изжило себя.

Я заметил Ленину, что вождю нельзя быть пессимистом и скептиком.

Свердлов перебил меня:

– Так, по-вашему, нужно развивать это анархическое явление в жизни крестьянства?

– О, ваша партия развивать его не будет, – ответил я ему. А Ленин подхватил:

– А во имя чего нужно бы его развивать? Во имя того, чтобы раздробить революционные силы пролетариата, чтобы открыть путь росту и развитию контрреволюции и в конце концов пойти самим и повести весь пролетариат на ее эшафот?

Я не сдержался и нервно заметил Ленину, что анархизм и анархисты к контрреволюции не стремятся и не ведут к ней пролетариат.

– А разве я это сказал? – спросил меня Ленин и далее пояснил: он хотел этим сказать, что анархисты, не имея серьезной своей организации широкого масштаба, не могут организовывать пролетариат и беднейшее крестьянство и, следовательно, не могут поднимать их на защиту, в широком смысле этого слова, того, что завоевано всеми нами и всем нам дорого.

Далее мы перевели разговор на другие его вопросы. И на один из них, на вопрос о «красногвардейских отрядах и их революционном мужестве, с которым они защищали наши общие революционные достижения», Ленин заставил меня ответить ему подробнейшим образом. Этот вопрос, видимо, беспокоил его, или же он восстанавливал в памяти то, что еще так недавно проделано было красногвардейскими группами и отрядами на Украине, проделано как будто успешно, с достижением той цели, которую Ленин и его партия ставили перед собой и во имя которой посылали эти группы и отряды из далекого Петрограда и других больших городов России на Украину. Помню, как Ленин с особым душевным беспокойством, которое может быть только у человека, живущего страстью борьбы с ненавистным ему строем и жадной победы над ним, тревожился, когда я сказал ему:

– Я – участник разоружения десятков казачьих эшелонов, снявшихся с противогерманского фронта в конце декабря 17-го и в начале 18-го года, и хорошо знаком с «революционным мужеством» красногвардейских групп и отрядов, а в особенности их командиров... И мне кажется, что вы, товарищ Ленин, имея о нем сведения из второстепенных и третьестепенных рук, преувеличиваете его.

– Как так? Вы его не признаете? – спросил меня Ленин.

– Были и революционность, и мужество в красногвардейцах, но не такие уж великие, как вы себе их представляете. Были моменты в борьбе красногвардейцев с гайдамаками Центральной рады и в особенности с немецкими полками, когда революционность и мужество и самих красногвардейцев, и их командиров были очень бледны и ничтожны. Правда, по-моему, это объясняется во многих случаях тем, что красногвардейские формирования производились наспех и придерживались методов борьбы с противником, непохожих ни на партизанские, в глубоком смысле этого слова, ни на фронтовые. Ведь для вас должно быть известно, что красногвардейские группы и отряды, как бы они ни были многочисленны или малочисленны, производили наступления свои против противника по-над линиями железных дорог. Расстояние в 10–15 верст от железных дорог оставалось свободным; в нем могли находиться сторонники либо революции, либо контрреволюции. И в зависимости от этого в большинстве случаев находился успех наступлений. Лишь на подходах к узловым станциям или городам и селам, пересекаемым железной дорогой, красногвардейские части принимали фронтовую линию и производили свои атаки. Но и тыл, и окрестность атакуемого места оставались невыясненными. От этого наступательное дело революции страдало. Потому что при таком ведении его красногвардейские части не успевали даже выпустить свое воззвание ко всему району, как контрреволюционные силы

уже переходили в контрнаступление и зачастую заставляли красногвардейцев бежать на десятки верст, бежать опять-таки по путям линий железных дорог, в эшелонах. Таким образом, население деревень их и не видело. И только поэтому оно не могло их поддержать...

– Что же революционные пропагандисты делают по деревням? Разве они не успевают подготовить деревенских пролетариев к тому времени, когда красногвардейские части проходят мимо них, чтобы пополнять их свежими борцами или создавать новые самостоятельные красногвардейские отряды и занимать новые боевые участки против контрреволюции? – нервно спросил меня Ленин.

– Не нужно увлекаться. Революционных пропагандистов по деревням так мало, и они там так беспомощны! А там же сотни пропагандистов, тайных врагов революции, приезжают ежедневно. Ожидать от революционных пропагандистов, что они создадут новые силы революции в деревнях и организовано противопоставят их Контрреволюции, во многих местах и в большинстве случаев не приходится. Ведь время, – в заключение ответил я Ленину, – требует решительных действий всех революционеров и во всех областях жизни и борьбы трудящихся. Не учитывать этого-у нас, на Украине, в особенности-значит дать возможность контрреволюции гетманщины свободно развиваться и укреплять свою власть.

Свердлов, глядя то на меня, то на Ленина, с нескрываемым восторгом улыбался. Ленин же, сложивши палец меж палец кисти своих рук и нагнувши голову, о чем-то думал. Затем выпрямился и сказал мне:

– Обо всем, что вы мне сейчас осветили, приходится сожалеть.

А далее, поворачивая голову к Свердлову, добавил:

– Реорганизовав красногвардейские отряды в Красную Армию, мы идем по верному пути, к окончательной победе пролетариата над буржуазией.

– Да, да, – быстро сказал Свердлов. Потом Ленин спросил меня:

– Чем вы думаете заняться в Москве?

Я ответил, что здесь задержался ненадолго: по решению нашей повстанческой конференции в Таганроге я должен быть к первым числам июля на Украине.

– Нелегально?

– Да.

Ленин, обращаясь к Свердлову, говорит:

– Анархисты всегда самоотверженны, идут на всякие жертвы, но близорукие фанатики, пропускают настоящее для отдаленного будущего... – И тут же просит меня не принимать это на свой счет, говоря: – Вас, товарищ, я считаю человеком реальности и кипучей злобы дня. Если бы таких анархистов-коммунистов была хотя бы одна треть в России, то мы, коммунисты, готовы были бы идти с ними на известные условия и совместно работать на пользу свободной организации производителей.

Я лично почувствовал, что начинаю благоговеть перед Лениным, которого недавно убежденно считал виновником разгрома анархических организаций в Москве, что послужило сигналом для разгрома их и во многих других городах России. И я глубоко в душе начал стыдиться самого себя, быстро ища подходящего ответа ему.

Я выпалил в него словами:

– Анархисты-коммунисты все дорожат революцией и ее достижениями; а это свидетельствует о том, что они с этой стороны все одинаковы...

– Ну, этого вы нам не говорите, – сказал смеясь Ленин. – Мы знаем анархистов не хуже вас. Большинство из них если не ничего, то, во всяком случае, мало думают о настоящем; а ведь оно так серьезно, что не подумать о нем и не определить своего положительного отношения к нему революционеру больше чем позорно... Большинство анархистов думают и пишут о будущем, не понимая настоящего; это и разделяет нас, коммунистов, с ними.

При последней фразе Ленин поднялся со своего кресла и, пройдясь взад и вперед по кабинету, добавил:

– Да, да, анархисты сильны мыслями о будущем; в настоящем же они беспочвенны,

жалки исключительно потому, что они в силу своей бессодержательной фанатичности реально не имеют с этим будущим связи...

Свердлов усмехнулся и, обращаясь ко мне, сказал:

– Вы этого отрицать не можете. Замечания Владимира Ильича верны.

– А разве анархисты когда-либо признавали свою беспочвенность в жизни «настоящего»? Они об этом никогда и не думают, – подхватил Ленин.

На все это я сказал Ленину и Свердлову, что я полуграмотный крестьянин и о такой запутанной мысли об анархистах, какую Ленин сейчас мне выражал, спорить не умею.

– Но скажу, что ваше, товарищ Ленин, утверждение, будто анархисты не понимают «настоящего», реально не имеют с ним связи и т. п., в корне ошибочно. Анархисты-коммунисты на Украине (или, как вы, коммунисты-большевики, стараясь избегать слова Украина, называете ее Югом России) дали уже слишком много доказательств тому, что они целиком связаны с «настоящим». Вся борьба революционной украинской деревни с Украинской Центральной радой велась под идейным руководством анархистов-коммунистов и отчасти русских эсеров (которые, правда, имели совсем другие цели в своей борьбе с радой, чем мы, анархисты-коммунисты). Ваших большевиков по деревням совсем почти нет, а если есть, то их влияние там совсем ничтожно. Ведь почти все сельскохозяйственные коммунуны и артели на Украине были созданы по инициативе анархистов-коммунистов. А вооруженная борьба трудового населения Украины с вооруженной контрреволюцией вообще и с контрреволюцией в лице экспедиционных немецко-австро-венгерских армий была начата, исключительно под идейным и организационным руководством анархистов-коммунистов. Правда, не в ваших партийных интересах признать все это за нами, но это факты, которые вы не можете опровергнуть. Вам, я думаю, хорошо известны по численности и боеспособности все революционные отряды на Украине. Ибо неспроста же вы мне подчеркивали революционное мужество, с которым они так героически защищали наши общие революционные достижения... Из них добрая половина находилась под анархическими знаменами. Ведь командиры отрядов Мокроусов, М. Никифорова, Чередняк, Гарин, Черняк, Лунев и многие другие, имена которых, чтобы перечислить, потребуют много времени, – они все анархисты-коммунисты. Здесь я не говорю еще о себе лично, о группе, к которой я принадлежу, и обо всех тех отрядах и вольных батальонах защиты революции, которые были нами созданы и которые не могли быть неизвестными вашему высшему красногвардейскому командованию... Все это достаточно убедительно говорит о том, как ошибочно ваше, товарищ Ленин, утверждение, что мы, анархисты-коммунисты, беспомощны, жалки в «настоящем», хотя любим много думать о «будущем». Выше мною сказанное не подлежит сомнению, оно верно, и оно говорит обратное вашим заключениям о нас. Оно говорит всем, в том числе и вам, что мы, анархисты-коммунисты, всем своим существом погрузились в «настоящее», работаем в нем и именно в нем ищем приближения нас к будущему, о котором, да, мы думаем, и думаем серьезно...

В это время я взглянул на председателя ВЦИКа Свердлова. Он покраснел, но улыбался мне.

Ленин же разводил руками и говорил:

– Возможно, что я ошибаюсь...

– Да, да, вы, товарищ Ленин, в данном случае жестоко осудили нас, анархистов-коммунистов, только потому, я думаю, что вы плохо информированы об украинской действительности и о нашей роли в ней, – заметил я ему.

– Может быть. Я этого не отрицаю. Ошибаться свойственно каждому человеку, в особенности в такой обстановке, в какой мы находимся в настоящий момент, – твердил, разводя руками, Ленин.

И тут же, видя, что я немного разнервничался, старался по-отцовски успокаивать меня, с утонченным мастерством переводя разговор на другую тему.

Но скверный, если можно так выразиться, характер мой при всем моем уважении к

Ленину, которое я питал к нему при данном разговоре, не позволил мне интересоваться дальнейшим разговором с ним. Я чувствовал себя как бы обиженным. И вопреки сознанию, что передо мною сидит человек, с которым следовало бы о многом и многом поговорить, у которого многому можно научиться, настроение мое изменилось. Я не мог уже быть таким развязным в своих ему ответах, ибо почувствовал, что во мне что-то оборвалось, мне стало тяжело.

Нельзя сказать, чтобы этих быстрых перемен в моем настроении Ленин не заметил. Он их заметил и старался подорвать перемену во мне разговорами на совершенно отвлеченные темы. И заметив, что я начал постепенно выправлять свое настроение (я его чувствовал) и таять перед его красноречием, он вдруг совершенно неожиданно для меня повторно спросил меня:

– Итак, вы хотите перебраться нелегально на свою Украину? Я ответил:

– Да.

– Желаете воспользоваться моим содействием?

– Очень даже, – ответил я.

Тогда Ленин обратился к Свердлову со словами:

– Кто у нас непосредственно стоит теперь в бюро по переправе людей на Юг?

Свердлов ответил:

– Товарищ Карпенко не то Затонский. Лучше всего справится.

– Позвоните, пожалуйста, и узнайте, – попросил его Ленин, а сам повернулся ко мне.

В то время как Свердлов звонил по телефону, справляясь, кто– Затонский или Карпенко– непосредственно стоит у дела переправы людей на Украину для подпольной работы, Ленин убеждал меня, что из его отношения ко мне я должен заключить, что отношение партии коммунистов к анархистам не так уж враждебно.

– И если нам, – сказал Ленин, – пришлось энергично и без всяких сентиментальных колебаний отобрать у анархистов с Малой Дмитровки особняк, в котором они скрывали всех видных московских и приезжих бандитов, то ответственны за это не мы, а сами анархисты с Малой Дмитровки. Впрочем, мы их теперь уже не беспокоим. Вы, вероятно, знаете: им разрешено занять другое здание, там же, недалеко от Малой Дмитровки, и они свободно работают.

– А имеются ли у вас данные, – спросил я Ленина, – которые уличали бы анархистов с Малой Дмитровки, что они скрывают у себя бандитов?

– Да, Всероссийская чрезвычайная комиссия их собрала и проверила. Иначе наша партия не позволила бы ей действовать, – ответил Ленин.

В это время к нам снова подсел Свердлов и сообщил, что непосредственно у дела стоит товарищ Карпенко, но товарищ Затонский тоже в курсе всех этих дел.

Ленин тотчас же подхватил:

– Так вот, товарищ, зайдите завтра, послезавтра или когда найдете это нужным к товарищу Карпенко и попросите у него все, что вам нужно для нелегальной поездки на Украину. Он вам укажет и надежный маршрут через границу.

– Какую границу? – спросил я его.

– Разве вы не знаете? Теперь установлена между Россией и Украиной граница. Она охраняется немецкими войсками, – нервно заметил Ленин.

– Да вы же считаете Украину Югом России, – заметил я ему.

– Считать – одно, товарищ, а в жизни видеть – другое, – ответил Ленин.

Я на это ничего ему не возразил, так как он продолжал:

– Карпенко вы скажите, что я направил вас к нему. Если будет сомневаться, пусть справится по моему телефону. Адрес, где вы можете видеть товарища Карпенко, такой-то.

И мы все трое поднялись, пожали друг другу руки, сердечно, казалось, поблагодарили друг друга, и я вышел от Ленина, забыв даже напомнить Свердлову о том, чтобы он распорядился по своему секретариату сделать нужную отметку на моих документах на право получения от Моссовета ордера на занятие бесплатной квартиры.

Я быстро очутился во дворе Кремля, так же быстро вышел из него и пошел в номера, к товарищу Бурцеву.

Глава XIX

Мои встречи с новыми людьми и новые тяжелые впечатления. Мои приготовления к отъезду на Украину

Как я уже отмечал выше, товарищ Бурцев тяготился тем, что мы зажились в заведомых им номерах. Тяготился он нами, быть может, потому, что свихнулся в сторону левой эсеровщины, в гущу которой он попал по приезду на IV Всероссийский съезд Советов в качестве делегата от одного из крестьянских районов Смоленской губернии. В крестьянской секции ВЦИКа Советов он и был избран заведовать ее номерами, в которых жили как постоянные, так и приезжающие и отъезжающие члены этой секции. А может быть, и что-либо другое побуждало его тяготиться тем, что несколько товарищей (и не все постоянно) у него жили... Трудно было выяснить это, а он сам ничего не говорил. Поэтому идти к нему мне было тяжело. Однако и не пойти нельзя было, так как мне нужен был Аршинов, которого можно было найти только у Бурцева... Я пошел. И к радости моей застал Бурцева в хорошем расположении духа. Он меня встретил с распростертыми объятиями. Рассказал мне, что много крестьян приехало из провинции, привезли ему хлеба (которого в то время в Москве трудно было достать: его не хватало; поэтому только чиновники правительственных учреждений получали его; рабочие же и тем более обыватели получали по карточкам вместо хлеба селедку или крупу). Дружески справился он о том, голоден ли я, и накормил меня.

На вопрос мой, здесь ли ночевал товарищ Аршинов и скоро ли он будет тут, Бурцев ответил, что трудно сказать, когда придет, не раньше ночи во всяком случае. И с особым недовольством начал рассказывать мне, что все наши товарищи ни черта не делают. Все поделались лентяями: проводят время от 12-2 часов дня после обеда до 12-2 часов ночи где-либо по паркам, а остальное время за сном.

– Конечно, ты и Аршинова к этим лентяям причисляешь? – спросил я Бурцева. Ответ последовал:

– Да.

– Но ведь он же занимается изданием книжек Кропоткина, – возразил я Бурцеву.

– Разве это работа?.. Книжечки по месяцу, по два лежат в типографии, – ответил Бурцев.

Этому неожиданному для меня мнению Бурцева о том, перед кем он прежде преклонялся, я не придавал значения, ибо я видел Аршинова за работой в качестве секретаря Союза идейной пропаганды анархизма. Хотя эта работа мне лично (да и вообще для того момента революции) казалась праздной, но Аршинова и его сотоварищей – Рошина, Борового, Сандомирского и других – она, очевидно, удовлетворяла.

Однако, как бы легко я ни отнесся к словам Бурцева, дышавшим гневом, рассуждения его подчеркнули мне мои собственные выводы после наблюдений, во многих городах, в том числе и в Москве, за положением и развитием нашего анархического движения в то время. Я сравнивал то и другое с тем влиянием анархизма, которое мне хотелось бы видеть если не на самый ход событий, то хотя бы на руководителей этими событиями... Рассказ Бурцева глубоко запечатлелся в моей душе, что я заметил, как только ушел от него на ночлег к товарищу Маслову, где мог вспомнить его и продумать...

На другой день я опять зашел к Бурцеву, где и встретил Аршинова. Оба они, и Бурцев, и Аршинов, выразили мне свое удивление, почему я не прихожу к ним ночевать. Ответив на их вопрос, я сказал Аршинову, что был у «богов», в Кремле. Но он особенного значения этому не придавал, и я прекратил разговор, заявив, что в ближайшие дни выезжаю на Украину.

Этим последним вопросом товарищ Аршинов интересовался. Мы обсуждали его, начиная с первой же встречи нашей по приезду моем в Москву, и теперь еще живей

принялись за него. Аршинов заручился от меня согласием на то, что я, зная, в каком положении находится наше движение в Москве вообще и в Союзе идейной пропаганды анархизма в частности, не буду забывать поддерживать его движение в финансовом отношении. И я ушел в город искать адреса тех, у кого можно было получить паспорт из Украины, способствующий совершенно свободно перейти русско-украинскую – гетманско-немецкую – границу.

Ленин направил меня за содействием по адресу какого-то Карпенко. Встреча же моя с товарищем Михайлевицем, председателем Александровского уездного революционного комитета, и беседа с ним о возвращении моем на Украину помогли мне уяснить конспиративный характер выдачи паспортов из местностей, занятых теперь немцами и гетманщиной. Дело это сосредоточивалось в руках товарища Затонского. Поэтому я с Михайлевицем и направился к Затонскому.

Михайлевиц имел к нему какое-то еще свое дело и пошел вперед, а через несколько минут позвал и меня. Он отрекомендовал меня Затонскому как своего хорошего знакомого и человека, известного на революционном поприще в деревне, на Украине.

Затонский стоя выслушал меня о том, чего я от него хочу. Я объяснил ему, что он, как член украинского Советского правительства, может и должен дать мне надлежащий паспорт из местности, оккупированной немецко-австрийскими армиями, чтобы я мог свободно перебраться в харьковском направлении через границу на Украину.

Он долго, с особым интересом расспрашивал меня: в какой район я думаю пробираться; знаю ли, что путь мой связан с большим риском, и главным образом не в пограничной полосе и не на самой границе, а внутри Украины, и т. д.

На все это я ему ответил, что все это мною продумано.

Затем, перебросившись несколькими фразами чисто отвлеченного характера со мною и с Михайлевицем, он попросил меня зайти к нему на другой день...

В ожидании завтрашнего дня я использовал время и разыскал польского социалиста – друга своего по каторге Петра Ягодзинского, где встретился с Махайским (основоположником особого рода теории и формы классовой борьбы трудящихся с капиталом). У Ягодзинского я и провел время за взаимным рассказом о том, кто из нас и наших друзей по каторге за что взялся по возвращении в свои местности.

Здесь же я узнал, что следственная комиссия из бывших политических московской каторги при чека обратилась ко всем узникам этой каторги с предложением сообщить ей данные, какие у кого имеются, о деспотах-надзирателях каторги. Последние были по распоряжению чека перееарестованы и теперь находились под следствием.

Помню, во мне закипело чувство гнева по отношению к этим деспотам-надзирателям и зародилось желание помешать им. Я думал пойти в эту следственную комиссию и дать о многих из них свои показания. Но мысли эти разлетались в клочья, когда я сосредоточивался на вопросе: допустимо ли революционеру-анархисту питать в себе такие чувства к тем, которые побеждены революцией? Я ответил себе: нет. Я допускаю месть, и жестокую месть только по отношению к тем, кто является виновниками строя, не могущего обойтись без тюрем. Этот вывод заставил меня воздержаться от участия с другими политическими каторжанами в обвинении даже тех деспотов, тюремных палачей, которые, по-моему, должны быть убиты в первый же день нашего освобождения. Такое убийство не вызвало бы ни у кого из нас – тех политических каторжан, которые не имели ни денег, ни склонности подкупать этих палачей (как это делала вся почти и всех политических группировок официальная интеллигенция), – ни боли, ни печали. Все были бы довольны тем, что революция не прощает никому злодейских преступлений по отношению к ее сынам. Сейчас же, когда время прошло, революция торжествует, сейчас смерть, как и жизнь, этих негодяев казалась мне безразличной... С таким решением я вышел от Ягодзинского и поспешил отправиться на митинг Л. Троцкого, которым как оратором увлекался не только я за время своего пребывания в Москве, но и многие друзья и противники его. И нужно сказать правду, он этого заслуживал. Его речей нельзя было равнять ни с речами шелкопера Зиновьева, ни с

речами Бухарина. Он умел говорить; и им можно было увлекаться. Правда, этому много помогало особо острое в смысле боевизма партии большевиков время.

В этот же день я встретился с Ривой, которая, мне казалось, была ответственным членом Мариупольской группы анархистов-коммунистов; таковой ее считали и другие члены этой группы, которые вместе с нею и со мною от самого Ростова ехали в глубь России. Лишь в Астрахани мы разъехались. Она держалась своих друзей и с ними застряла в Астрахани.

Теперь она перебралась в Москву. Хороший была товарищ, но как-то быстро покатила по наклонной плоскости от анархизма к большевизму, нашла себе друга большевика и затерялась в рядах большевиков до полного революционно-политического обезличения...

Поздним вечером возвратился я на ночлег к Бурцеву, который сверх ожидания встретил меня дружески. Аршинова еще не было. Я улегся спать.

Наутро я опять пошел к Затонскому. Теперь он был более определен. Расспросил меня более основательно о том, почему я стремлюсь в село, а не в город. Сообщил мне, что Михайлович отрекомендовал ему меня с очень хорошей стороны. На этом основании он, дескать, говорит со мною совершенно откровенно. Предлагал связи в Харькове:

– Ведь если вы поедете на Украину с целью организации боевых повстанческих групп против немецких войск и гетмана, то Харьковский район самый подходящий для этого. И сейчас все анархисты и большевики обращают внимание на этот район...

На откровенность Затонского я ответил ему, что никакими посторонними обязанностями я свой путь на Украину не могу загромождать. Ни в одном городе задерживаться не могу и не хочу. Направляюсь на Запорожье в села, где я со своими товарищами слишком много поработал, и могу глубоко верить и питать надежды, что мое присутствие и готовность ко всяким жертвам там в настоящее время принесут пользу для украинской революции.

– Гм... гм... Ну тогда скажите: на какое имя и фамилию вы хотите сделать себе паспорт? – спросил меня Затонский.

Я ему написал: *Иван Яковлевич Шепель*, Матвеево-Курганской волости, Таганрогского округа, Екатеринославской губернии. Учитель. Офицер.

– Почему же вы избрали такую отдаленную от Запорожья местность?

Я ответил:

– Чтобы отвести всякое желание у пограничных властей подозревать меня, что я из тех районов, где революция имела наиболее яркое свое практическое выражение, и чтобы не погибнуть прежде достигнутой цели.

Затонский засмеялся и сказал: «Верно». И тут же попросил меня зайти к нему за паспортом через два дня.

Это меня несколько смутило, но делать было нечего. Я попрощался с ним и ушел.

Казалось, что я не получу этого паспорта и застряну если не в самой Москве, то в каком-либо другом городе на продолжительное время. А июль надвигался быстро, и не быть в первых его числах в Гуляйполе или где-либо поблизости от него – это значило не выполнить нашего, гуляйпольцев-революционеров, таганрогского постановления и власть в общую болезнь – отделиться от всех и вся и в одиночку путаться из города в город, бесстыдно лицемеря перед незнающими тебя, будто ты разъезжаешь с каким-то поручением, будто ты чем-то занят и что-то делаешь в этом своем шатании. Этой болезни я не мог терпеть; всем своим существом я презирал ее. Поэтому ожидание, пока пройдут эти два дня, по истечении которых я должен буду получить паспорт, мучило меня, в особенности когда я встречал то тех, то других приезжих в Москву революционеров, которые чуть не все беззастенчиво лицемерили, что они озабочены судьбами революции на Украине, и жили, жили, ничего или почти ничего не деля; жили, как достойные бойцы после неравной, но успешной борьбы с врагами. В особенности так жили люди из правительственных партий большевиков и левых социалистов-революционеров. Противно было смотреть на все это

лицемерие. Но выйти из его пошлого омота, чтобы не замечать его хотя бы среди своих близких, нельзя было. Кольцо его слишком крепко охватывало в это время жизнь Москвы, и из него можно было выбраться, только покинув Москву, эту бестолково шумную Москву, подлинно революционный дух которой в это время постепенно уже замирал во властническом политическом круговороте... можно сказать, растерянную Москву, к которой я питал особую злобу, как к содержанке тысяч путавшихся в ней бездельников, не перестававших не только льстить, но и орать во все горло о себе как о неустанных работниках движения.

Когда по деревням и другим городам в них нуждались; когда там они могли бы если не сделаться действительно неустанными работниками нашего движения, то по крайней мере стать полезными для него и для тех, силой которых наше движение ставит себе задачу осуществить исторические цели революции, многие и многие из нас, анархистов, в особенности чуть-чуть теоретически определившихся, попусту тратили время на ложные потуги отыскать в анархизме что-то сверхсовершенное, чему нет места в жизни настоящего. Место ему, дескать, только в будущем, и то неизвестно в каких формах. Эти бессодержательные для рабочего революционного анархизма потуги исказили самый смысл и содержание анархистского действия в революциях «настоящего». Благодаря им анархист должен теперь сознавать свое организационное ничтожество, несмотря на то что был одним из первых предвозвестников идеи социальной революции, и по долгу должен бы был не только морально, но и организационно оправдать ее зачатки, дать толчок к дальнейшему их развитию и углублению. Да неужели же это так будет и там, куда я лечу, чтобы страдать и радоваться в борьбе за освобождение угнетенных?

Нет! Нет! В украинской действительности повторный этап революции пойдет хотя и более резким, но зато и более верным путем, думал я в последние минуты перед выездом из Москвы. Здесь революция приняла окончательно бумажный характер: все ее дело проводится по декрету. Но украинские труженики, наученные горьким опытом, будут избегать этого, и революция будет подлинно трудовой революцией; социальные вехи ее неминуемо должны принять глубоко революционный характер; и это поможет труженикам деревни и города смести на своем пути весь партийный политический авантюризм. При этом передо мною беглой вереницей проходили все съезды, собрания, митинги – анархистов, большевиков, левых эсеров... Я погружался целиком в самого себя. Много мешало мне, однако, полностью останавливаться на всем, что приковывало мое внимание. Поэтому все мои воспоминания носили отрывочный характер. Так, например, я сосредоточился на съезде текстильщиков. Я вспомнил, как представители рабочих разрешали те или другие вопросы, хотя и от имени своего класса, но не его подлинной волей, а волей политических партий, из которых, как известно, каждая хотя и считала себя представительницей пролетарского класса, но по-своему и прежде всего в своих партийных интересах понимала и истолковывала его цели и обязанности в момент строительства социалистического государства (которое ему, пролетариату, нужно, как пятое колесо в телеге). А понимание и истолковывание это в умах и устах политических партий сводилось к тому, что пролетариат должен создать себе власть и надеяться и ожидать, что она, эта власть, создаст для него новые условия свободы и радости в жизни. А это, по-моему, во-первых, резко отмежевывало пролетариат и его цели в революции от трудового крестьянства, без взаимного сотрудничества с которым трудовая жизнь и классовая борьба за нее не могут достичь своих целей настолько, чтобы не дать места внутри себя политической и даже экономической реакции пролетариев города против пролетариев деревни. Во-вторых же, такое автоматическое подчинение пролетариев вообще как класса каким бы то ни было политическим партиям отдаёт его этим партиям на самое позорное издевательство как в духовном, так и в физическом отношениях. Это соответствует зарождению и развитию в огромной части городского пролетариата России и Украины мысли о необходимости «своей» государственной политической власти и ее диктатуры именно в духе толкований тех или других политических партий. Во имя этой власти часть пролетариата, которая сама

коренным образом ничего изменить не может (это ей одной не под силу), разбивает единство всего трудового организма. Во имя неё же эта часть пролетариата создает новые, якобы «пролетарские» кадры, совершает поход против несогласившихся с нею, хотя и не вредящих ей, или борется зачастую за то, что в недалеком будущем во имя свободы, вольного труда и равенства сама же будет отбрасывать в сторону как хлам, искусственно вызванный к жизни в момент революции, которая сама же первыми своими практическими шагами показала, что она перешагнула через этот хлам и движется вперед. Благодаря всем этим явлениям, в тружеников деревни и города со временем закрадывается (и развивается) недоверие одних к другим. И благодаря ему же труженики всегда в результате всех своих исторических битв с властью капитала и его слуги – государства оставались в плену этой власти.

Идеологи политического авантюризма, по которому равняется почти все их принципиальное отношение к каждому освободительному движению тружеников, подхватывают это недоверие одних тружеников к другим, истолковывают причины, вызвавшие его в ложном виде, и на нем строят свои партийные программы, указывающие труженикам, что, только следуя их положениям, можно отыскать, правильно понять и устранить причины этого недоверия. Городской пролетариат, а также и трудовое крестьянство, потеряв свою целостность, то трудовое единство, из которого единственно можно было бы черпать силу для общей и великой борьбы за общее и полное свое освобождение, за своевременную взаимную поддержку и за знание, поддаются на эту удочку политического авантюризма и бросаются в объятия той или другой политической партии, вспоенной и воспитанной на этом авантюризме. Тем самым пролетариат и крестьянство дробят, распыляют свой трудовой фронт, обессиливают свою классовую мощь, за счет которой все, кому только не лень, и во всех отношениях живут и наживаются во благо свое, своих близких, но только не на благо рабочих и крестьян. Правда, устои этой подлости революция пошатнула в корне. Но уничтожит ли она их совсем – это вопрос, на который я не могу ответить утвердительно теперь, когда я проехал десятки городов и побывал в самом сердце этих городов – их политическом руководителе – Москве, где вижу, как слабы, ничтожны, да к тому еще и неорганизованы те наши общие революционные силы, которые самой историей, казалось, были призваны в революцию, чтобы вывести ее из буржуазно-политического тупика на простор революционно-социального действия. Простором этого действия завладели политические партии. Они не задумываются серьезно ни над временем, ни над его подлинными требованиями. На их долю выпало стать во главе революции. Правда, революция эта чревата последствиями, но пока что они хозяева и властители дум широких трудовых масс. Они уродуют эти думы и направляют по своему партийному руслу, считая все это ввиду таких-то и таких-то причин (как они обыкновенно выражаются) неизбежным, даже необходимым.

То обстоятельство, что двум политическим партиям – большевиков и левых эсеров – посчастливилось стать во главе революции; что эти партии умело подошли к широким трудовым массам в деревне и городе и организованно овладели ими, – это обстоятельство в значительной степени помогло им лишиться профессиональные союзы, фабрично-заводские комитеты и производственные кооперативы трудящихся возможности развиваться в духе подлинной революционной хозяйственности, возможности создать из этих организаций исходный пункт и операционную базу, чтобы двигаться вперед в борьбе с контрреволюцией, определенно осознавая свои цели, предостерегая себя от недочетов и ошибок. Весь политический путь революции делал профессиональные союзы, фабрично-заводские комитеты и производственные кооперативы трудящихся, а также и самих трудящихся не только бессильными, но и неспособными без опеки политических партий и их государственной власти самостоятельно отвоевывать себе право на социальную независимость, самостоятельно отвергать одни принципы во имя других, наиболее отвечающих характеру революции.

Политические партии, даже самые левые из них над этим серьезно никогда не задумывались. Не задумываются они и над последствиями своих действий в русской

революции. Увлекаясь сами своими «успехами», они увлекают за собой и слепо им доверившиеся трудовые массы, увлекают часто в такой омут сумятицы и неопределенностей, которого и сами не в состоянии ни понять, ни расхлебать... Такое положение я сейчас лично наблюдаю и думаю, что его многие чувствуют в эти июньские дни восемнадцатого года в России не только в рядах широкой трудовой массы, но и внутри самого большевистско-левоэсеровского блока, когда, с одной стороны, Вильгельм Второй через своего посланника Мирбаха и через самих большевиков ставит препятствия развитию русской революции, а с другой стороны, пролетариат и крестьянство на всех своих съездах требуют для революции широкого простора. Хотя благодаря этому большевистско-левоэсеровский блок и дал окончательную трещину и можно ожидать боя, но это обстоятельство не может стереть того преступления, какое этот блок уже совершил по отношению к широким трудовым массам, которыми и во имя которых революция совершалась.

Так думалось мне. И еще задумывался я над тем, что будет, когда широкие трудовые массы, которые так искренне и глубоко верили в чистоту принципов Октябрьской революции, узнают, как эти принципы попираются в Москве, к которой как к духовному центру они все-таки прислушивались. Ведь им легко будет убедиться в том, в чем теперь убедился я, совершая революцию, борясь и умирая за нее, они прежде всего приносят пользу политическим партиям, которые управляются особой интеллигентской кастой; а последняя, по самому существу своих специфических кастовых интересов, чужда тех идеалов широких трудовых масс, во имя которых последние совершают революцию. Утешал я себя тем аргументом, что *таков исторический ход всякой революции, кроме подлинно социальной. Только последняя в своем стихийном беге сметает всякий политический авантюризм, прежде чем переходит на свой организационный созидательный путь. Это, быть может, и спасает ее положительные результаты...*

В период развития социальной революции, думал я далее, политические авантюристы со своей демагогией болтаются больше всего в ее хвосте. А те из них, которые идут вместе с массами, но и со своими лукавыми намерениями, при всей их хитрости зачастую погибают на этом пути... И лишь те революционеры, кто вступает в ряды борющихся трудовых масс не с лукавыми намерениями своих партий или групп и не как повелители, а как бойцы и советчики, зачастую выигрывают вместе с массой или если погибают, то оставляют глубокие, даже неизгладимые следы для будущих битв.

Были ли такими образцами в стихийном беге русской революции из большевиков – Ленин, Троцкий, Свердлов, Каменев, Коллонтай, из эсеров – Спиридонова, Камков; из анархистов – А. Боровой, Рошин, Атабекян, Бармаш, с которыми я встретился в Москве и которых слышал на митингах, я не знал. Но после всего передуманного во мне еще более укрепилась мысль о необходимости стараться, чтобы трудовое крестьянство и пролетарии города заботились о себе сами, непосредственно у себя на местах. Теперь уже во мне бурлила кровь – желание во что бы то ни стало быть на Украине. И все взоры мои были направлены туда, чтобы совместно с народом учесть все недочеты, все ошибки недавнего прошлого и броситься в жестокую борьбу против немецко-австро-венгерских и гетманских сатрапов и их вооруженных контрреволюционных банд; в борьбу, чтобы или умереть, или освободить Украину от них.

В душе поднялось властное желание путем воли и усилия самого трудового народа создать на Украине новый строй жизни.

Где не было бы ни рабства,
Ни лжи, ни позора!
Ни презренных божеств, ни цепей,
Где не купишь за злато любви и простора,
Где лишь правда, и правда людей...

Такой строй в настоящее время я мыслил вполне возможным в форме вольного

советского строя, при котором вся Украина и Россия, все другие страны мира должны покрыться местными, совершенно самостоятельными хозяйственными и общественными самоуправлениями, или советами тружеников, что одно и то же.

Через свои районные, областные и общенациональные съезды эти местные, хозяйственные и общественные органы самоуправления устанавливают общую схему порядка и трудовой взаимности между собою. Создают учетно-статистическое, распределительное и посредническое федеративное бюро, вокруг которого тесно объединяются и при помощи которого в интересах всей страны, всего ее свободного трудового народа согласовывают на поприще всестороннего социально-общественного строительства свою работу.

Над практическим осуществлением вольного советского строя я часто задумывался. Часто болел из-за того, что видел, как все в то время шло по ложному пути и этим говорило мне, что, чтобы разрушить этот ложный путь, нужны великие усилия и жертвы трудящихся, которые одни только и могут это сделать. Но они к этому не подготовлены. Более того, они от этого своего прямого дела уже отведены политиканами-государственниками в сторону и прикованы к делу этих политиканов. Вместо воли начала коваться неволя самими трудящимися и для самих себя. Политиканы-социалисты и коммунисты-государственники, стоявшие во главе на этом ложном пути революции и приведшие трудящихся к партийному повинению, довольны своими успехами. Широкие же трудовые массы, которыми и во имя которых совершалась революция, этого чисто политического довольства политиканов не могут заметить и еще решительнее отдают свои права на свободу и независимость в жизни и борьбе за новые общественные идеалы, самих себя, свою жизнь под опеку этим поистине зарвавшимся вершителям судеб трудящегося люда.

И опять размышляя об этом, я находил некоторое успокоение в своей глубокой вере в то, что на Украине, при новом оживлении революции, труженики будут осмотрительнее и не отдадут себя и свое прямое дело под опеку политиканов. Волнуемый этой верой и вытекавшими из нее надеждами, что я сам буду работать в этом направлении, будут работать все мои друзья и идейные товарищи, я решил ни одного лишнего дня не оставаться в Москве. Решил зайти к тов. Затонскому, спросить его, приготовил ли он обещанные мне украинские документы, и получить их, если они приготовлены; если же нет, в тот же день уехать в направлении Курска.

Затонский принял меня на сей раз совсем по-товарищески. Сообщил, что документы сделаны, и тут же вручил их мне.

Затем мы долго говорили об Украине, о ее революционных районах и т. п. Он еще раз предложил мне остановиться в Харькове, где я могу, по его заверениям, встретить многих анархистов и хороших работников-большевиков и откуда действительно может начаться серьезная революционная работа против немецко-гетманской реакции.

Я и на этот раз заявил Затонскому, что я обусловлен большой ответственностью быть в первых числах июля в Запорожье, в селах, и спешу только туда. Всякая моя задержка может дурно отразиться на работе, начатой нами, анархо-коммунистами.

Затонский засмеялся и сказал:

– Разве анархисты способны организовать что-нибудь серьезно и в большом масштабе? Анархисты способны только разрушать...

– По вашей демагогии, – ответил я ему и тут же добавил: – Когда-либо увидите, что мы способны и создавать.

Он пожелал мне хорошего успеха, и я вышел от него. Лишь идя по дороге от Затонского, я искренне сам себе признался, что я переборщил, сказав, *что мы способны создавать*. Как организация мы, анархисты, ни на что серьезное и в широком масштабе в это время способны не были. Это убедительно говорил мне каждый шаг моих дерзких попыток увидеть, что наша анархическая организация сделала по городам за этот период революции. Я ничего не заметил, потому что ничего не было. Все разрозненные попытки многих анархических групп заложить прочный фундамент нового свободного строя на

совершенно новых началах, без государства и его инициативы, потерпели полное поражение только потому, что они были единичными и неповсеместными попытками. Порознь они легко и с надеждой, что не повторятся, властью разрушались. Противостоять этому гнусному делу революционной власти они не могли своими разрозненными силами. А единой и мощной организации, которая знала бы, чего она хочет и как действовать среди тех безыменных крестьян и рабочих-революционеров, которыми выносятся вся тяжесть событий, мы, анархисты, не имели и пока что не имеем. Впрочем, человеку-политикану я сказал, *что мы способны создавать*, думал я дальше: было бы лучше и правильнее, если бы я сказал ему, что его власть мешает нам создать что-либо большое и серьезное. И это соображение меня успокаивало.

Глава XX В дороге на Украину

Итак, распрощавшись с товарищами-москвичами, я в сопровождении Аршинова отправился 29 июня 1918 года на Курский вокзал в Москве. Здесь, в ожидании поезда на Курск, Аршинов еще раз напомнил мне, чтобы я, если благополучно доберусь до места, не забывал страждущей материально анархической Москвы. Конечно, он имел в виду в данном случае анархическую Москву в лице Союза идейной пропаганды анархизма, и только это меня удерживало, чтобы не разразиться по адресу анархической наезжей Москвы руганью за ее бессодержательное, пустое болтание вдали от живой, плодотворной работы среди крестьян. Я сдержанно и с чувством сознания анархической обязанности помогать всем, чем могу, движению ответил ему, что помогать буду, если буду жив...

А когда поезд подошел, Аршинов помог мне влезть в вагон и мы, распрощавшись, расстались, мне казалось, навсегда; ибо я и по своему темпераменту, и по своему сознанию считал долгом быть в этот грозный для революции момент среди масс, в самой их гуще. Я сознавал ответственность за возможное поражение революции хоть и в разной степени, но за всеми революционерами, и мне казался противным слет анархистов в Москву и бессодержательное пустое шатанье по ней. Передо мной во всей своей ясности стояли простые и хотя злобные, но правдивые слова П. Бурцева о том, что большинство, если не все приезжие наши товарищи в Москву, путаются в ней почти без дела или если и берутся за какое-либо дело, то только от стыда перед своим противником и часто для того лишь, чтобы не пухнуть с голода.

Я краснел перед самим собою за подобного рода явление в наших рядах. И если что-либо меня утешало, так это полнота веры в то, что, если мне удастся пробраться на Украину в Гуляйпольский район и если удастся также и остальным моим товарищам пробраться к Гуляйполю и устроить хорошее общение с крестьянами и рабочими Гуляйполя и района, наша организационная и боевая работа будет освобождена от случайных элементов и примет совершенно новый вид как по форме, так и по практическому содержанию: вид борьбы против контрреволюции, за идеал свободы, равенства и вольного труда.

Утешаясь этим, я чувствовал себя, несмотря на тесноту, духоту и вонь в вагоне, лучше, чем в Москве, этой соблазнительной издали и как будто способной чему-то научить Москве, из которой я теперь бежал на простор живого действия украинской революционной деревни. На этом просторе, в гуще тех, кто способен его создать и на его основании закладывать фундамент новой жизни, я найду духовное удовлетворение, говорил я себе, и уносился мыслью к нему, к этому простору...

Так, с полным чувством увлечения и неопишуемой радости, я доехал до Орла. Здесь поезд задержался. Я не утерпел и вышел из вагона, а потом уже за давкой не мог попасть в него и остался на целые сутки в Орле.

Побродил по этому городу. Он многое напоминал мне собою. Ведь это город, в котором при самодержавии глупого Николая II Романова существовала каторга. На этой каторге в особенности не было предела разнузданности по отношению политкаторжан. Дух

антисемитизма здесь гулял в той мере, в какой только смогли проявлять его управители каторги, начиная от начальника и кончая темным невежественным надзирателем – ключевым или постовым – у дверей камер при выходе на прогулки, на самой прогулке. Это в Орловской каторге чуть не каждого прибывающего в нее политкаторжанина под воротами спрашивали: «Жид?» И если отвечал: «Нет», заставляли показать крест. А когда не оказывалось последнего, били, приговаривая: «Скрывает, мерзавец, свое жидовство». Били до тех пор, пока не срывали с него арестантского костюма и не убеждались на половом члене. Но и в этом случае били, только теперь уже за то, что не носит креста...

Одно воспоминание об Орловском центре, о котором мне мои друзья так много рассказывали, сдавливало мне горло и леденило мозг.

Хотелось мне разыскать анархическое бюро, повидаться с анархистами, узнать, уничтожены ли надзиратели и начальство этой каторги. Чувствовалось, что было бы легче на душе, если бы знал, что революция этим палачам не простила за их подлые злодеяния. Однако анархистов я в Орле не нашел: революционная власть большевиков-левоэсеровского блока дико плясала на мертвом теле революции, как везде.

На другой день, ночью, я был уже в Курске. Здесь я встретил много анархистов и большевиков. Все они готовились к отъезду на Украину. Они были несколько смелее меня насчет отъезда. Они имели связи и проводников. Не были они стеснены и материально.

В Курске я пробыл недолго. Я побывал там, где должен был встретиться с Веретельником и другими товарищами, и как только выяснил, что их никого еще не было, я сейчас же направился к границе по направлению Белгорода. Высадился я на станции Беленкино и по дороге от нее к границе встретился в тысячной толпе мешочников и людей других профессий со многими гуляйпольцами. Один из них – сын одной хорошо знакомой мне еврейской семьи, некий Шапиро – бросился мне на шею. Он многое сообщил мне о положении крестьян в Гуляйполе, ни словом, конечно, не заикнувшись о гнусной провокаторской роли еврейской роты вольного Гуляйпольского батальона, благодаря первым инициативным действиям которой под руководством агентов Украинской Центральной рады и немцев гуляйпольские крестьяне попали в это тяжелое положение.

От этого Шапиро и ряда других еврейских парней я узнал, что дом моей матери сожжен немецкой и украинской властями. Старший мой брат Емельян, который, как инвалид войны, не принимал никакого участия в политической организации, расстрелян. Другой старший брат, Савва, который участвовал в революционном движении с 1907 года, как только возвратился после нашей таганрогской конференции, тотчас же был схвачен и посажен в Александровскую тюрьму. За мое отсутствие из Гуляйполя немцами совершено много расстрелов, главным образом крестьян-анархистов. А мать моя скитается по чужим квартирам...

Эта коротенькая весть о жизни в Гуляйполе так повлияла на меня, что я душевно заболел. Я способен был на то, чтобы возвратиться в Москву, в ту самую Москву, которую я возненавидел за мое пребывание в ней. Это смятенное состояние еще более усиливало боль моей души. Я остановился на дороге. Толпы народа шли непрерывно из Украины в Россию с радостными улыбающимися лицами, видимо потому, что благополучно пронесли что-то с собой через границу.

Долго я раздумывал. Гуляйпольцы, с которыми я встретился на этом месте, уходя от меня, не советовали мне пробираться на Украину. Но разум диктовал мне совершенно противоположное. Он напоминал мне ответственность мою перед тем, что я наметил, будучи еще в Гуляйполе, что формулировал особо выразительно на таганрогской конференции гуляйпольцев и что целиком было конференцией принято. Ведь во имя этого решения я еду на Украину. Я переборол свое чувство боли, подбодрил себя мыслью, что кому-либо нужно было умирать из моего рода за освободительные идеи народа, но что смерть их рано или поздно вызовет за собою взаимные смерти, я в этом клянусь перед своей совестью. И я, упоенный этой мыслью, тронулся дальше в путь.

Теперь я больше ни о чем другом не думал, как о том, чтобы благополучно пройти

мимо немецких пограничных пикетов. Я нанял по примеру других подводу, положил свой чемодан, сам уселся в нее и спокойно, по праву гражданина гетмано-немецкой Украины, проехал пикеты Красной Армии и немецкие пикеты.

Дорога была удачная. Никто никого не трогал. Я освободил своего подводчика, поставил чемодан и сел на него, чтобы отдохнуть, только потому, что так делали все переживавшие.

Освободившись быстро от мысли, что за мной могут следить, я подошел к одному, к другому из граждан, чтобы узнать, какая и где же находится станция. Все указывали назад, на станцию Беленикино, находящуюся в зоне красных. Этой же станции, где мы сидели, никто не знает. Перестал и я заботиться о том, чтобы узнать ее название. Тем более что я уже узнал, что поезд из Белгорода подойдет к этому месту, где сидят пассажиры, и мы здесь будем садиться в него.

В скором времени поезда один за другим начали подходить, забирать пассажиров и отправляться обратно в Белгород и далее, до Харькова.

Пассажиров было очень много. Поезда наполнялись в мгновение ока через двери и через окна вагонов. На крышах вагонов было также полно. Я поджидал случая, что мне удастся попасть в вагон через дверь, и остался на месте посадки до самой ночи. Правда, были вагоны железнодорожных служащих, в которых место было, но немецкие власти запрещали им брать к себе пассажиров. Кроме того, железнодорожные служащие гетманского царства поделались такими «украинцами», что на вопросы, обращенные к ним на русском языке, совсем не отвечали.

Я, например, хотел от них узнать, идет ли этот эшелон и далее, из Белгорода. Мне пришлось подходить к целому ряду вагонов, но ни один из железнодорожников на мой вопрос ни слова не ответил. И только позже, когда я, истомленный, проходил обратно рядом с этими вагонами, один из них подозвал меня и предупредил, чтобы я ни к кому не обращался со словами «товарищ», а говорил бы «шановний добродію», в противном случае я ни от кого и ничего не добьюсь.

Я поразился этому требованию, но делать было нечего. И я, не владея своим родным украинским языком, принужденно должен был уродовать его так в своих обращениях к окружающим меня, что становилось стыдно...

Над этим явлением я несколько задумался; и, скажу правду, оно вызвало во мне какую-то болезненную злость, и вот почему.

Я поставил себе вопрос: от имени кого требуется от меня такая ломота языка, когда я его не знаю? Я понимал, что это требование исходит не от украинского трудового народа. Оно – требование тех фиктивных «украинцев», которые народились из-под грубого сапога немецко-австро-венгерского юнкерства и старались подделаться под модный тон. Я был убежден, что для таких украинцев нужен был только украинский язык, а не полнота свободы Украины, и населяющего ее трудового народа. Несмотря на то что они внешне становились в позу друзей независимости Украины, внутренне они цепко хватались, вместе со своим гетманом Скоропадским, за Вильгельма немецкого и Карла австро-венгерского, за их политику против революции. Эти «украинцы» не понимали одной простой истины: что свобода и независимость Украины совместимы только со свободой и независимостью населяющего ее трудового народа, без которого Украина ничто...

Ночью с немалым трудом на свой риск и страх я взобрался с рядом, видимо, подобных мне стрельцов на крышу одного вагона и таким образом приехал в Белгород, где переоделся в офицерский костюм, к которому имел соответствующий документ. Это помогло мне беспрепятственно доехать до Харькова.

Тут я в ожидании поезда на Ростов задержался на несколько часов и потом переехал в Синельниково (в 60–70 верстах от Гуляйполя). Радости моей не было границ. И вероятно, из-за нее я попал бы в руки немецким и гетманским агентам, если бы не считался с тем, что того Синельникова, которое я знал раньше, уже не было, как не было уже вообще всего того, что было 2 1/2 месяца тому назад. Теперь ничего ни украинского, ни русского нигде по

станциям, в дороге и в самом Синельникове, я не видел. Всюду: у дверей станции, на досточках, висевших на паровозах, красовались надписи:

«Deutsch Vaterland» (немецкое отечество), а по перронам шатались или сидели группами солдаты контрреволюционных армий, вышедших из этого «Deutsch Vaterland».

Это сдерживало порыв моей радости. Я непрерывно думал: где же я? Неужели же я попал не туда, куда так рвался из Москвы? И зло, о как зло смеялся я над всеми этими надписями!..

Но этот мой смех быстро сменился ужасом, когда один из гуляйпольских евреев подошел ко мне и, протягивая мне руку, назвал меня по фамилии. Я ужаснулся, хотя знал, что он был честный человек и на то, чтобы предать меня властям, не пойдет. Я просил его быть осторожным с моей фамилией и в ту же минуту убежал от него, переделся в Штатское платье и с первым попавшимся поездом выехал по направлению Гуляйполя.

Теперь положение мое несколько изменилось. Если от Белгорода до Синельникова – около 400 верст – мне везло в пути (помогали: военная форма, погоны прапорщика, фальшивое расшаркивание и такие же поклоны), то от Синельникова до Мечетной, каких-либо 30–40 верст, путь мой сделался чрезвычайно тяжелым. Каждую минуту ожидала смерть. Мое старание выглядеть «щирым гетманцем» кой-как сходило с рук по глупости гетманской государственной стражи. Но рассчитывать на этот прием оказалось возможным только до станции Мечетное. Начиная же от этой станции, мое имя начало все чаще упоминаться в вагоне. И на одном из разъездов мне гуляйпольский гражданин Коган и другие сообщили, что немецкие жандармы ищут меня в других вагонах.

Я быстро передал Когану свой чемодан с вещами; сказал, кому сдать его в Гуляйполе, а сам, накинув на себя плащ, вышел из вагона в поле и скрылся в его зарослях. Когда же поезд отправился дальше, я поднялся и ушел.

25 верст я прошел пешком и попал в нужное мне село Рождественка, с левой стороны которого всего в 20 верстах находилось мое родное Гуляйполе, которое я даже видел, подходя к Рождественке. На сердце чувствовалась нежная любовь к одному имени: Гуляйполе... Однако в Рождественке крестьянин З. Клешня и все близкие сообщали мне нерадостные вести о Гуляйполе, о жизни в нем трудового населения, о расстрелах лучших сынов его и т. д.

Однако, как ни трудно было мне снестись с гуляйпольскими крестьянами и рабочими-анархистами (теми, которые не были известны как анархисты шовинистической украинской и буржуазной еврейской сволочи, выдававшей всех революционеров немецким палачам на казни, и только поэтому оставались в живых), я все-таки письменно снесся с ними, дав им знать, что не сегодня завтра буду среди них, чтобы вместе с ними обсудить ряд важнейших вопросов революционно-боевого характера. И несмотря на то что от них я получил ответ – воздержаться от переезда в Гуляйполе, пока они не пришлют за мною своего человека, а это делало меня пленником, я чувствовал, что я на Украине, и верил, что отсюда я раскатаю начатое еще весной Дело организаций восстания.

Да, именно этот район оказался центральным пунктом организации революционного крестьянского восстания под моим личным и всей нашей группы идейным и организационным руководством.

Гуляйполе со своим трудовым и революционным населением и его стремлением возродить казенную революцию стало основным руководящим ядром этого восстания. В нем, Гуляйполе, я с рядом преданнейших делу социальной революции анархистов-крестьян создал операционную базу, на основе которой гуляйпольское трудовое население первое восстало против палачей революции – немецко-австро-венгерского юнкерства и гетманщины. Своими усилиями, своей отвагой и революционным мужеством на этом пути оно сделало все, чтобы увлечь за собою другие села и районы трудового населения.

Все это, конечно, не сделалось в мгновение ока, по мановению «волшебных палочек», как это многие паяцы из политиканов-социалистов, большевики и многие анархисты, не понимая широкой массы и чаще всего стоя в стороне от нее, позволяют себе не только

думать в своей среде, но и писать с пафосом для других, пафосом, обыкновенно заменяющим знание предмета.

Все это требовало от нас величайших усилий и упорства стоять на одном, бить в одном направлении, чтобы убедить широкую трудовую массу в нашей преданности ей не только на словах, но и на деле в ее практической жизни, в ее борьбе за ограждение своего революционного пути от мусора со стороны главным образом замаскированных врагов революции, которые чаще всего появляются в ее рядах под знаменем социализма.

Этого предмета я уже касался во вступительной книге к моим запискам («Русская революция на Украине»).

Исчерпывающим изложением всей этой столь важной темы я займусь в последующих моих книгах: в третьей и в четвертой, т. е. там, где будет речь о практической и организационной стороне руководимого мною крестьянского революционного восстания на Украине, представлявшего собою украинскую революцию.